

М. М. Пришвин

# Родники Берендея

Москва 2004

**ББК 84.4**  
**П 77**



Издание подготовлено ПКИ — Переславской Краеведческой Инициативой.

Редактор А. Ю. Фоменко.

Примечания М. А. Дорофеевой.

Отдельная благодарность Ольге Алексеевне Кручининой  
за бумажную книгу.

В основе переиздания — книга М. М. Пришвина «Родники Берендея»,  
вышедшая в издательстве «Советская Россия» в 1977 году.

**Пришвин М. М.**

П 77 Родники Берендея / М. М. Пришвин. — М.:  
MelanarЁ, 2004. — 124 с.

Кто напишет аннотацию? Кому не наплевать на свою Родину?!

**ББК 84.4**

© Михаил Михайлович Пришвин, 1926.  
© MelanarЁ, 2004.

## От редакции

Хороший отзыв об этой книге даёт Н. П. Анциферов в статье «Беллетристы-краеведы».<sup>1</sup> Но пока мы не нашли этой статьи, ограничимся словами переславского историка М. И. Смирнова,<sup>2</sup> которым по непостижимой причине гордятся до сих пор — вместо того, чтобы превзойти его.

---

Михаил Михайлович стал хвастать своими «Родниками Берендея». В ответ на это его «Родники» я разнёс в самой жестокой форме. Дело в том, что в тех местах, где говорится о людях, это произведение представляет собой ряд плохо продуманных фельетонов. Выведенные лица раскарикатурены, очевидно, «для красного словца», особенно поп Филимон, мельник и прочие. Я указал ему, что, с точки зрения этической — это некрасиво, а с точки зрения краеведной — это неправильно. Беллетристика, если она желает служить краеведению, должна быть благородной и точной. Между тем вся его работа, наспех написанная, главным образом с моих слов, под мою, можно сказать, диктовку местами слашава и требует пересмотра, особенно в отношении введённых им лиц, которым приписаны преувеличенные дурные черты. Самыми лучшими людьми там оттенены автором это — он сам да его Лёва...  
[...]

Пришвин остался верен себе. Он как Каин блуждает по свету. Находит в разных его уголках простодушных людей, эксплуатирует их, пока они ему нужны, а потом устраивает им свинство и перебирается в другие края. Я уже только от Руднева узнал, что из Талдома он уехал после большой неприятности с поэтом Сергеем Клычковым, который много сделал для него там в революцию... С тех пор я с Пришвиным больше не имел близкого дела, он остался для меня как квартирант. Но квартирант довольно любопытный. Ещё когда мы были в самых лучших отношениях, он постарался заключить договор на квартиру сроком на пять лет. Когда мельничиха ему заметила: «Зачем же Вам договор?», то он ответил ей: чтобы я его не выгнал... Что, очевидно, с ним бывало уже не раз. Платить за квартиру ему назначено было до смешного немного (по 8 р. 50 к.), но ему не хотелось давать эту ничтожную сумму.  
[...]

Я с крайним смущением должен был ему писать, что краеведную работу мы все делали бесплатно, а его книга продана за хорошие деньги в нескольких местах, а кроме того, его финансовые дела настолько хороши, что плата его не обременит. И действительно, живя на Ботике, он был, что называется, как у Христа за пазушкой, огребал гонорар лопатой и впоследствии купил себе дом в Сергиеве, куда и уехал потом окончательно с 1 сентября.  
[...]

В Ленинград я привёз с собой написанную мною статью: «Краеведная беллетристика», в которой разделал под орех писателя-краеведа Пришвина по случаю выпуска в свет его книги «Родники Берендея». Ставил ему в вину довольно резко вольное и невольное искажение и извращение, оказавшиеся там. Протестовал против его творчества и настаивал на том, что он не краевед, — беллетрист невысокой марки. Мои друзья Д. О. Святский и Александр Андреевич Спицын мне отсоветовали печатать её. Поразил меня А. А. своим

<sup>1</sup>Анциферов, Н. П. Беллетристы-краеведы / Н. П. Анциферов // *Краеведение*. — 1927. — № 1. — С. 31–46.

<sup>2</sup>Смирнов, М. М. Воспоминания и записки / М. М. Смирнов. — М.: MelanarE, 2003.

проницательным взглядом на Пришвина. Он сразу понял его как хищника и холодно ответил на заискивания. Свою работу я отдал Николаю Павловичу Анциферову, и он положил её в основу своей статьи «Беллетристы-краеведы», где очень тонко и мастерски доказал Пришвину, что он не «краевед», а брехун.

---

Впрочем, дадим слово и Пришвину; что же скажет он нам в ответ?<sup>1</sup>

---

Мих. Ив. прислал мне самое нахальное письмо с угрозой выселения с Ботика. В результате в исполкоме схватились за это и докладывают Главнауке с просьбой об отводе Заведующего. Едва ли они, дураки, что-нибудь сделают, но если бы у них это вышло, то к лучшему. Какой это краевед, если ему на месте нет ни одного сочувствующего человека.

[...]

У Мих. Ив. две болезни: одна властолюбие, другая — скардность, и одно идёт параллельно другому, так эти моменты сгущения власти приходятся всегда к денежным выдачам: служить из-за этого с ним невозможно. Самолюбие, материально подкрепляемое жадностью.

---

<sup>1</sup>Пришвин, М. М. Дневники. 1926—1927 / М. М. Пришвин. — М.: Русская книга, 2003.

Весна



## Весна света и воды

### Первая капель

У нас, фенологов, наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкою света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге с боку на бок; тогда солнце повёртывается на лето, и хотя зима на мороз, — всё-таки цыган тулуп продаёт. с. 83

Январь средней России: предвесенние оживлённые крики серых ворон, драки домовых воробьёв, у собак течка, у чёрных воронов первые брачные игры.

Февраль: первая капель с крыш на красной стороне, песня большой синицы, постройка гнёзд у домовых воробьёв, первая барабанная трель дятла.

Январь, февраль, начало марта — это всё весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе адски работаю, собираю, как скряга, рубль за рублём и, когда, наругавшись довольно со всеми из-за денег, наконец, в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю свободен и счастлив. Да, счастлив тот, кто может застать начало весны света в городе и потом встретит у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека.

Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым встаёт вопрос, как в этом году пойдёт весна, — и каждый год весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая.

В этом году весна света перестоялась, почти невыносимо было глазу сияние снега, всюду говорили:

— Часом всё кончится!

Отправляясь в далёкий путь на санях, люди боялись, как бы не пришлось сани где-нибудь бросить и вести коня в поводу. с. 84

Да, никогда новая весна не бывает, как старая, и оттого так хорошо становится жить — с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году.

Наши крестьяне, встречаясь друг с другом, только и говорят о весне:

— Вот-вот оборвётся!

— Часом всё кончится!

### Появление первых кучевых облаков

У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сиял, как непомятая лебединая грудь. С трудом я открыл дверь, заваленную ночным снегом, и, пробивая лопатой траншею, стал раскидывать и белый пух этой ночи и под ним залежалые тяжёлые пласты.

Я не жалею сугроба; вон в снеговом половодье плывёт облако, большое, тёплое, каких не бывает зимой, и оно тоже — как непомятая лебединая грудь. Там и тут вместе с весной, на земле и на небе, показывается вновь моё неоскорбляемое видение, и я встречаю его теперь без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния: оно, как весна, приходит, уходит и, пока я жив, непременно возвращается. Чего же мне тосковать? Я теперь уже не ребёнок, а отец и хозяин всех моих видений.

Это не шутка — пятидесятый год; вспомните, как сказано об этом в древней книге: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так

свершится, то это будет твой пятидесятый год, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.

— Ну, ребята, — кричу я, — живо вставайте, идите мне помогать, скоро будет мой юбилей!

Их зовут Лёвка и Петька, оба умирают в лесах на охоте. Я с толком воспитал в них эту свою страсть: ради меткого выстрела мои дети не загубят жизнь, они убивают только, что мы едим и что можно сохранить для музея. После Нового года и до первой весны, в закрытое для охоты время, они, бывает, танцуют в городишке и поздно возвращаются ко мне в деревню, и это у них тоже называется *стрелять*. У Лёвы рано наклюнулись усики, он их потихоньку подбривал моей бритвой, и теперь у него усы на верном ходу. У младшего губы ещё совершенно голые.

Начиная от Сороков, когда прилетают грачи, жаворонки и всякая мелкая птичка, они бросают мысли о танцах и в свободные часы начинают готовиться к тяге, к глухариным и тетеревиным токам. А когда пойдёт самая охота, возвращаясь вечером с тяги, вспоминают иногда с удивлением танцевальное время и говорят, что это было от *нечего делать*. Опять они начинают ошибаться в словах и говорить не *девушки*, как я им велю, а девчонки, и теперь почему-то я их больше и не поправляю.

— Ну, ребята, — говорю им, — чувствуете вы, какой нынче день, весна света в полном разгаре, скоро вода погребца зальёт, живо, живо работайте, други!

Мы славно поработали, и от этой работы здоровье души переливается через край.

Стою, опираясь на погруженную в снег лопату, и не могу себе ясно сказать, кого я так сильно люблю.

Над фиолетовым лесом играют два ворона, кувыркаются.

Да вот же кого я люблю — эту птицу! В зимний страшный день, когда от сильного мороза солнце как будто распято на светлых столбах, всё засыпано снегом, спрятался человек, зверь, птица обыкновенная на лету падает мёртвая и только я — живая душа — еду неуверенный, доберусь ли домой, — вот этот чёрный ворон над белым покровом летит высоко, скрипя обмороженным маховым пером.

А вот теперь у ворона разгар любви: нижний с разлёту сшибает верхнего и поднимается выше, сбитый проделывает то же самое, и так, чередуясь, летят они всё выше, выше и вдруг с криком ринутся вниз и сейчас же наверх.

Вороны кувыркаются — до чего хорошо! В душе звучит мелодия, и вместо слов отзывается мне всё голубое небо, и по этому светлому половодью вот опять плывёт тёплое облако, как большая белая птица, поднимая высоко лебединую грудь, никем не помятую.

## Земля показалась

с. 86 Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал:

— Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют.

Вышел я и послушал, — правда, очень хорошо и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая.

Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял и, наконец, коснулся её, и она остановилась и задумалась... Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса.

Петя всмотрелся в редеющий туман и, заметив в поле что-то тёмное, крикнул:

— Смотри, земля показалась!

Побежал в дом, и мне было слышно, как он крикнул:

— Лёва, иди скорее посмотреть, земля показалась!

Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза:

— Где земля показалась?

Петя стоял впереди и показывал рукой в снежную даль, как в море Колумб, и повторял:

— Земля, земля!



## Туман

К обеду небо пролысилось, и леса стали голубеть всё больше и больше, пока не сделались совсем фиолетовыми. Лёва принёс важное известие:

— В низах вода напирает!

Петя заметил: тетерева сидят на деревьях и выбирают место для тока.

— Может быть, просто кормятся? — спросил я.

— Нет, — отвечает, — они сидели низко на корьёвнике, там им нечем кормиться.

Иду в село за провизией по обрытой дороге. Рядом, по старой дороге, едут на базар подводы. Моя высокая дорога сильно обтаяла, вода стекла в канаву, а на старой — слежалый и закрытый навозом снег, как стальной, и долго будет лежать, и долго ещё по старой дороге будут ездить мужики на базар; старая дорога одна теперь соединяет в один путь все просёлки.

Туман всё-таки ещё не совсем разошёлся, не видно села. Но я слышу, как там кричат петухи. Чем ближе я подхожу, тем сильнее крик петухов, не крик даже, а петушиный рёв, всё село кричит по-петушину. Так скоро будут грачи орать на гнёздах, выгоняя ворон, потом, к Егорью, коровы, и после всего девки начнут. с. 87

## Первая песня воды

К вечеру мы вышли проверить, не отзовутся ли на писчик рябчики. Весной мы их не бьём, но потешаемся; очень занятно бывает, когда они по насту бегут, останавливаются, прислушиваясь, и, бывает, набегут так близко — чуть что не рукой хватай.

Возвращаться нам было труднее: прихватил вечерний заморозок, ногу наст ещё не держал, проваливалось, и ногу трудно было вытаскивать. Оранжевая заря была строгая и стекленеющая, лужи на болотах горели от неё, как окна. Нам было очень нужно узнать, что это: тетерева бормочут или так кажется. Все мы трое взгромоздились на большую вытаявшую кочку, прислушались.

Тут я пыхнул дымом из трубки, и оказалось — чуть-чуть тянуло с севера. Мы стали слушать на север и вдруг сразу всё поняли, — это внизу, совсем близко от нас, переливалась вода, напирая на мостик, и пела, совершенно как тетерев.

## Глухариный ток

За ночь сильно вывездило, в комнате стало прохладно, — я вышел посмотреть, что делается на дворе. Как раз в это время и сосед мой, старый крестьянин вышел до ветру.

— Морозит, — сказал я.

Он не сразу ответил, осмотрел всё вокруг себя — снег, звёздное небо, шарахнул ногой и сказал о морозе:

— За дедом внук пришёл!

Я попробовал пройти по снегу, — не провалилось.

— Хороший внук, — сказал я старику и пошёл будить детей.

Я им рассказал, что это, может быть, последний наст и нам надо непременно идти на Ворогошь — проверить ток глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканья крыльев.

— Ты, папа, спец, — сказал радостно Лёва и стал тормозить Петьку. с. 88

Всё подковало и даже припорошило. Дорога была лёгкая и радостная во все стороны. На десятки вёрст леса и болота нами исхожены, избеганы с гончими, и всем островам, низинам, хохолкам дано наше имя: есть у нас «Ясная поляна» с тремя высокими елями, под которыми всегда зайцы проходят, есть сухое местечко между двумя большими болотами — «Передышка», есть «Золотая луговина», а вёрст за восемь от нас, среди временами почти непроходимых болот, висит боровое местечко, далеко видное, местные люди зовут его просто *Вихорёк*, а мы окрестили «Алаунская возвышенность». Со свежими силами по припорошенному насту мы быстро промахнули все восемь вёрст до Вихорька и тут на высоком месте щекой уловили первое движение южного ветра. Тут я вспомнил, как все

говорили о весне — «часом всё кончится», и затревожился: «Что, если при южном ветре будет солнечный день, как мы выберемся из этих глухариных мест?»

В ожидании первого света мы прислонились к деревьям и слушали. И вот это уже верно: всю жизнь ходи в лесу, всё узнай, всё изучи, и всё-таки нет-нет и выйдет такое, что никак не поймёшь. Услышали мы треск внизу на болотах и такой сильный, что лёд разлетался, как стекло, и эти стёклышки льда, падая, тоже давали звук. Чудовище, ломавшее лёд на болотах, очень быстро двигалось к нам, и все мы трое, затаив дыхание, со взведёнными курками, ожидали его в темноте. Но оно, не дойдя немного нашего острова, завернуло и пошло всё дальше и дальше в болота. На том сухом местечке, которое мы зовём «Передышкой», треск на короткое время прекратился, а потом опять стало ломать, и это было слышно без конца и, верно, уж больше по догадке. Потом, когда в той стороне загорелась красная заря, Петя услышал первый оттуда желанный звук и потом Лёва. Верно, это было очень далеко, я не слышал, и в ушах у меня пели сверчки да по догадке по-прежнему лось всё ломал и ломал стекло на болоте. Они слышали первые, и теперь их дело скакать вниз и потом, с риском спугнуть, по стеклянному болоту.

Мне довольно прекрасной зари и ласкового южного ветерка, — я стою на горе и смотрю туда вниз, на болота, покрытые редкими тёмными седухами — соснами.

с. 89

Сколько времени я так стою? Проходят красные века по заре, и вдруг там, у них, выстрел: это лучше, чем мне бы пришлось, — так уж почему-то складывается: их удача я больше радуюсь, чем своей. Но и мне пришлось поскакать немного; на третьем скачке я услышал особенный, непередаваемый звук больших крыльев, быстро обернулся туда, на красном поймал между кронами большое чёрное и туда, как в стену, выстрелил, а другой глухарь, к которому я скакал, сорвался. И пусть, мне больше не надо. Он упал на огромную муравьиную кочку под соснами, и в неё, в эту ещё не ожившую кочку, я сел лицом к заре.

У них там был ещё один выстрел, но я его пропустил почти без внимания, потому что при восходящем солнце около муравьиной кочки открылся целый мир загадок, которые все я, напрягая весь свой ум, стал разгадывать. Был там один маленький канальчик в луже подо льдом, и по канальчику струилась вода. Откуда взялся канальчик? Я разгадал: это когда снег только ещё начал таять, мышшь пробежала и омяла его, потом подморозило, и когда снова стало таять, то омятое мышью не так быстро превращалось в воду, как снег, и когда ещё раз сверху заморозило, то подо льдом вода мышиный ход приспособила для своего бега.

Может быть, я и уснул, но в природе я сплю, не обрывая ни чувств своих, ни дум, только время проходит без счёта. Меня разбудила пригнутая снегом ветка и примороженная верхушкой к той самой луже, где для своего бега вода приспособила мышиный ход, — эта ветка вдруг прыгнула и стала передо мной деревцем. Я вздрогнул, вскочил, и что же открылось мне с этого места, называемого нами «Алаунской возвышенностью»: вода голубая, кругом вода!

То, что мы тут отрезаны на острове, мне и в голову не пришло, — как-нибудь доберёмся, не в этом дело. Счастье увидеть ещё раз весну света и воды было безмерное; мгновенно вспомнилось мне из древней книги: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.

Я отнял ствол от ружья и затрубил что было мочи. Пришли мои встревоженные дети. Я им велел отнять тоже стволы и сказал:

— Трубите, дети, сегодня мой юбилей!

## Весна воды

с. 90

В этот год, когда моя земля отдыхает, я не буду ничего придумывать: буду писать, не переменяя на свой лад имён, отмечая каждый день весны; героем моего рассказа будет сама земля.

Потребность записывать все явления природы явилась во мне, когда я начал удерживаться от весенних отдалённых путешествий, и, когда я стал, мир пошёл В нынешнем году я достал себе фенологическую программу и веду записи, как требует наука, но в черновиках

своих я тут же отмечаю и события своей личной жизни, встречи, замыслы, так что вся моя жизнь этой весны расположилась фенологически.

В тот день, когда я записал себе: *разбивка долгохвостых синиц на пары*, Пете сказали в школе, что вторая ступень у них преобразуется в семилетку, он получит свидетельство об окончании, а если хочет дальше учиться, то надо переехать в другой город. А мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде, и списывались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещеево озеро. Случилось, что как раз в этот день долгохвостых синиц и Петиней семилетки получился ответ от заведующего Переславльским музеем, что в Переславле школа недурная, и при музее ребятам можно хорошо заниматься краеведением, что птиц всяких множество, подальше в лесах ещё сохранились лоси, рыси, медведи, что в трёх верстах от города на высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Первого, и тут есть пустой дворец, в нём предполагается устроить биостанцию, и если я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце.

После того в письме был подробно указан путь на лошадях прямо или же кругом, через Москву, по железной дороге до станции *Берендеevo*.

Какие удивительные есть имена, и как они на меня действуют: дворец мне явился сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло и пошло в душе *берендить*.

«Ну, Берендей, — сказал я себе, — думать тебе больше нечего».

Страстное чувство природы совсем не мешает мне любить большие красивые города и их сложную жизнь: когда мне в городе захочется на волю, я сажусь на трамвай — и через двадцать минут опять в поле. Я, должно быть, свободный человек. Годами живу в хижинах рыбаков, охотников, крестьян, люблю трудовых людей, мне холодно и неловко у богатых мещан, но это не мешает мне любить города и дворцы. Черт бы её подрал, мою хижину, где летом при сильном дожде сухо только в печке, а зимой не вылезает из полушубка.

Куй железо, пока горячо, скорей стучи, молоток, по ящикам, ту же затягивайся, верёвочка.

— Лёва, — командую, — коленкой, коленкой нажми, чтобы не развязалось дорогой. Петя, вычисти и смажь получше наши ружья, слышал: рыси есть и медведи.

Оставив детей сдавать экзамены, мы отправились в путь, и над нами дикие гуси летели на север, верно, тоже к Плещееву озеру.

с. 91

## Прилёт журавлей

Мы в ограде *Горицкого монастыря*, большого, способного вместить тысячи людей города, расположенного крестом на берегах реки Трубежа и Плещеева озера. И, может быть, время такое и было, когда люди сюда вбирались от врагов. Теперь внутри стен пусто, сняты языки с некоторых колоколов, возле архиерейского пруда, соответствующего локоть в локоть размерам Ноева ковчега, бродят только две козы заведующего народным музеем, историка местного края, и с ними бегают Галя, дочка помощника заведующего, фауниста.

С малой колокольни видна вся жизнь за стеной: множество монастырей и церквей древнего города и между ними поток деревенских людей на базар. Так всё тут смешано, в этом городе-музее: древняя обитель, где наводится наш музей, называется *Пречистая на Горнице*, а сама земля, на которой стоит Пречистая, называется *Вшивая горка*, и на Вшивой — улица *Свистуша*, теперь переименованная в улицу *Володарского*, потом *Соколка*, где жили когда-то соколиные помытчики Ивана Грозного. Внизу лес церковей, так что между ними вот только проехать; одна — из церковей — *Сорок мучеников* — стоит при самом впадении Трубежа в озеро и названа в память утопленных в каком-то озере сорока мучеников; другая — как раз напротив, тоже на берегу Трубежа и Плещеева озера, называется *Введение*, потому что, по объяснению рыбаков, служит введением в лов знаменитой переславльской селёдки, а дальше опять высота, и на ней опять святыня — *Фёдор на горе*.

Так странно, что в болотах, испещрённых малыми речками, мы уже справили весну воды, а Плещеево озеро всё лежит, как зимнее поле, и только по едва различимой глазом лесной зубчатой оторочке догадываешься, что всё это огромное белое поле — озеро.

с. 92

Налево от Горицкого на этом озере виднеется одна высота с белым дворцом в память Петра Первого и колыбели русского флота, на другой стороне — высота *Александровой* горы с погребённым в земле древнейшим монастырём, и названа эта гора Александровой в честь Александра Невского, переславльского князя, а в народе гора называется *Ярилова плешь*.

Всё это я сразу узнал от местного историка, посвятившего всю жизнь изучению родного Переславльского княжества и сохранившего во всей чистоте владимирский говор на «о».

— В Горицком я седьмой квартирант, — говорил он по-владимирски, — первым был шут: вот Шутова роща, Шутов овраг, и даже одна из наших башен называется Шутова.

Шут, потом финские жрецы, ещё кто-то, под самый конец архиерей... Я хорошо запомнил шута и всё думал о нём, когда историк рассказывал о каком-то селе Воскресенском, в народе называемом *Чертовым*.

«Не оттого ли, — думалось, — Шутово стало Чертовым, что в борьбе с весёлым Ярилой, или шутом, святые отцы поставили невозможную задачу Воскресения, одна невозможность вызвала другую, и бытовой добродушный Ярило перестроился в мистического злого черта».

Все монастыри, все церкви, имеющие художественное значение, и ботик Петра Первого, и Ярилова плешь — всё принадлежит музею.

— Вот так музей, — сказал я, — от Ярилы до Петра Первого...

— И после Петра, — ответил историк, — хотите, сейчас покажу Екатерину, Елизавету...

В это время прибыли посетители музея, и все мы пошли смотреть Успенскую церковь.

с. 93

Этот историк — отличный хозяин и своего рода переславльский собиратель земли, а главное, великоросс: может представить картину и на широкой воле и, когда нужно, вильнуть по узенькой тропинке...

Заметив, что не всем интересен рассказ про екатерининский иконостас и елизаветинское барокко и что многие неопределённо блуждают глазами по голубым сводам, он начинает рассказывать про архиерея Геннадия Кротинского, умершего от холеры и погребённого под этим храмом. Место могилы на полу храма обнесено решёткой, и за ней какой-то накрытый бугорок. Бывало, монах доставал отсюда из-под плата рукой песочек, раздавал верующим, и те думали, будто эта земля из-под сводов через камень, бут и дерево пола выпирает наверх. А вот теперь каждый может открыть платок рукой и убедиться, что песок просто насыпан в жестяную коробку из-под карамели, с которой даже не потрудились стереть надпись: «*Эйнем — Смесь*».

Один из посетителей, не обращавший внимания на екатерининское и елизаветинское искусство, не улыбнулся и на «*Эйнем — Смесь*». Михаил Иванович<sup>1</sup> указал этому мрачному юноше на фреску «*Богатого и Лазаря*».

— Это в огне буржуй кипит, — сказал он, — а пролетарий, смотрите, вознесён горе в лоно Авраамово!

Посетитель оживился и сказал:

— Вот видите, с каких времён это всё существует.

— Молодой человек, — ответил историк, — это так было действительно очень давно.

Когда мы вышли из церкви и со стены глянули на озеро, то все заметили, что сегодня, в очень тёплый день, отделилась узенькая голубая полоска заберегов и высоко плыли, курлыкая, журавли.

## Прилёт пустельги

Славно греет солнце на музейном дворе; летают бабочки-крапивницы. Фаунист Сергей Сергеич<sup>2</sup> отметил день крупным событием: жуки, музейные вредители, переползли на внутренние стены. Он собрал в мешок много сухих листьев, просеял, и долго мы смотрели в лупу, как эти сор-жуки оживали.

<sup>1</sup>Михаил Иванович Смирнов (1868—1949), переславский историк. — *Ред.*

<sup>2</sup>Сергей Сергеевич Геммельман, энтомолог, сотрудник переславского музея. — *Ред.*

— Сергей Сергеич, — спросил я, — из этих шестидесяти тысяч собранных вами жуков, наверно, есть у вас какой-нибудь любимый, с которого всё начинается? — Он не понял меня, повторил: — Есть у вас любимый жук?

Очень задумался.

— Личный какой-нибудь жук? — бормотал я.

— Есть, — с живостью сказал он, — только это не отдельный жук, а вид.

Ну вот... вид. Я же потому именно и спрашивал, чтобы выйти из вида и вспомнить того личного жука, который, может быть, в последнюю минуту отчаяния сверкнул всей красотой мира и спас жизнь Сергея Сергеича. Но раз любим целый вид...

— Хотя бы вид, — сказал я, — какой же вид?

Грузный, весь заросший волосами, сам похожий на большого букана, учёный, способный Сергей Сергеич, весь просияв, сказал:

— Жужелица!

После того мы пошли в кабинет и смотрели жужелиц, — сколько-то тысяч под стеклом, сколько-то на вате, и каждая из них имела свою карточку, свой формуляр.

Я слушал о жужелицах, и так мне всё хотелось спросить о первой жужелице, с которой он встретился, и узнать те тончайшие личные обстоятельства, увязавшие Сергея Сергеича в дело прикалывания любимых жужелиц на булавки.

Всю жизнь меня самого манило найти себе какую-нибудь вечную научную жужелицу и заняться ею на всю жизнь только одной, и много раз я даже брался, но как-то моментально выпивал из неё всю сладость, а работа впустую, без сладости, не выходила. И так, я не мог специализироваться, если не считать специальностью ловкость записей феноменов жизни.

В какой-нибудь час я выудил для себя всё замечательное в коллекциях Сергея Сергеича и вот уже опять блуждаю глазами в поисках нового и замечаю, что в воздухе дрожит пустельга и голубая лента заберегов озера всё прибавляется. Сказали, что если так пойдёт таяние льда, то через неделю начнётся щучий бой на Переславльском озере. Я принял решительные меры, чтобы стать поближе к природе, созвал музейный совет и сделал свой доклад об изучении края.

У меня есть свой краеведческий опыт, и шевелится в голове что-то вроде метода. Сущность этого краеведческого метода состоит в том, чтобы обыкновенным земляческим чувством края, в котором заключается и чувство природы и даже, несомненно, художественный синтез, пользоваться для понимания лица края по крайней мере на равных правах с обыкновенными научными методами изучения. Мне кажется, что замечательный следопыт из простого народа стоит одного или даже двух хороших учёных.

Несколько раз в беседе с первоклассными учёными я высказывал эти свои мысли, и оказывалось, что эти гениальные люди работали совершенно так же, как мы, рядовые следопыты жизни, а когда то же самое я говорил рядовым хорошим учёным, то они смотрели на меня свысока и очень плохо слушали. Вот почему я думаю: наверно, я ещё не дожид до того, чтобы своими мыслями убеждать, и потому об этом молчу, а просто докладываю о работах Сокольнической биостанции юных натуралистов и предлагаю подобную станцию основать в Переславле.

— Но там, — говорю я, — в Сокольниках, под Москвой, сравнительно мало материалов, и потому там общий тон изучения можно назвать *микро*-тон: микро-климат, микро-заповедник и самые лучшие работы сделаны о комарах. У нас же все природные данные вызывают взять *макро*-тон: огромное озеро, бесконечные леса. В нашем крае хорошо бы устроить биостанцию с географическим отделом и в тесном сотрудничестве с Сокольниками: пусть у них будет *микро*, а у нас — *макро*.

Сергей Сергеич заволновался, он понял, что я хочу избежать того необходимого труда, кропотливой, скучной работы, которая, собственно, и воспитывает детей.

Я этого совсем не хотел сказать, но я готов спорить, что воспитывает не микро-труд сам по себе, а то основное увлечение, ради чего выносят скуку и отчего всякая работа легка.

с. 94

с. 95

Мнения разделились: на позиции *макро* остались мы с историком, и к нам примкнул представитель укома; на сторону Сергея Сергеевича стал заведующий ОНО. Метеоролог, худой, болезненный человек, колебался.<sup>1</sup>

Перед концом дебатов и голосованием я сказал:

— Примите во внимание, что законы колебания в стакане чая и в Плещеевом озере одни и те же, а всё-таки буря в стакане и в Плещеевом озере не одно и то же...

В это время Сергей Сергеевич, желая что-то возразить, нечаянно дёрнул рукой и опрокинул стакан своего горячего чая на колени метеоролога. Тот вскочил и бросился вон. Вскоре он возвратился, и все тревожно обратились к нему:

— Ну, как?

— Ничего, — спокойно ответил метеоролог, — вам кому макро, кому микро, а мне только мокро.

Совет постановил: 1) для выяснения вопроса о направлении биостанции пригласить на время каникул представителей от Сокольников, 2) заведующему фенологическими наблюдениями предоставить на Ботике в дворце квартиру на южной стороне в четыре комнаты.

## Пролёт лебедей

С утра был светлый день, утренник скоро растаял, и к полудню утомительно было ходить в ватном пальто. Чайки прилетели раньше меня и теперь сильно кричали на зарастающих монастырских прудах.

Я ходил берегом озера устраивать свою квартиру на Ботике. У озера два берега: один — древний, высокий, изрезанный оврагами и потоками, другой — низкий, болотистый у воды, и в воде песок. Овраг здесь называется по-старинному *враг*: первый от Горицкого Шутов-враг, речка очень маленькая при деревне Вельково с Мемекой-горой, за Вельковым-врагом — Вознесенский и гора Князёк, и тут рядом Гремячая гора с Гремячим ключом. Вот на этой Гремячей горе и хранится, как мощи, ботик Петра Первого, и потому вся усадьба называется Ботик.

Не успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться, как Надежда Павловна, жена сторожа Ботика, рассказала мне о Петре, что он был большой любитель воды и раз, увидев издали Плещеево озеро, повернул коня и прямо спелыми полями поскакал к воде. А в деревне Вельково баба жала рожь и, как увидела, что какой-то верховой топчет, принялась честить его всякими скверными словами. Петру будто бы это очень понравилось, он щедро награждал вельковских мужиков и некоторых даже постоянно звал к себе на совет думу думать, с тех пор вот и пошли в селе Думновы, и сторож Иван Акимыч тоже Думнов, значит, кто-нибудь из его родни непременно с Петром думу думал.

Я осмотрел домик, где хранится единственный уцелевший от всей большой петровской потешной флотилии ботик с прогнившим дном, вспомнил из истории, как Пётр, приехав сюда через тридцать лет, возмущался небрежным хранением остатков флота и тут написал свой суровый указ воеводам переславльским. Сначала, конечно, это подогрело воевод, а потом опять стало гнить, пока от всех кораблей не остался единственный ботик, переходивший из рук в руки частных владельцев усадьбы. Царь Николай I, наконец, приналёг на владимирских дворян, они выкупили ботик, построили тут небольшой дворец, триумфальную арку и мраморный памятник с надписью из указа Петра:

«Надлежит вам, воеводам переславльским, беречь остатки кораблей, яхт и галер, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрёгших сей указ».

Настроенный словами Петра, я подошёл к обрыву Гремячей горы посмотреть на озеро, как на колыбель русского флота. За день кольцо заберегов стало ещё отчётливее и было красным от заходящего большого красного солнца. По долетавшим до моего слуха особым гармоническим ладам я узнал пролетающих где-то высоко лебедей.

В доме нашлись какие-то козлы, доски, из которых мы сделали себе столы и кровати, всё убрали, наслаждаясь звуком рычащего дерева в лесу: этот звук обыкновенно бывает слышен

<sup>1</sup>Анатолий Фёдорович Дюбюк, сотрудник переславского музея, основоположник космической метеорологии. — Ред.

только в глухих оврагах, а мы слышали его из дворца с большими саженными окнами. Жаль только, нигде не было дырочки для самоварной трубы, и пришлось его ставить на крыльце, но зато, когда я ставил его, вдруг в нескольких стах шагов от крыльца услышал токование тетерева, а когда пошёл в подвал за лучинками, то в окошко, напуганный мною, выскочил здоровенный русак.

Мы пили чай, с восторгом слушая рычащее дерево.

## Зацветание орешника

В лесу бело и черно, пестро, в оврагах шумит вода, и над ней, припекаемый солнцем, выкинул орешник золотые серёжки. Ярик сделал на слух свою первую стойку, думал, по токующему тетереву, а оказалось, это почти под его ногами по-тетеревиному журчала вода. Тетерев токовал дальше. Мы подняли токовика, с ним были четыре тетёрки. Дерево наше сильно рычит, днём и даже ночью слышно через закрытые окна. Я полюбил его, оно мне родное: ведь это я только не люблю говорить, а весной и у меня в душе тоже что-то рычит... с. 98

Закраек льда озера против Ботика подстелен льдом, но по канавке из-под льда щука всё-таки может выйти сюда к берегу. Наш сторож Думнов стоит с острогой, как Нептун, подальше — знаменитые щучьи бойцы брата Комиссаровы, за ними дьякон — и так по всему закрайку, с нашей Вёськóй стороны в Надгород, по Онóй стороне в Зázерье — кругом всё Нептуны.

Мне сказали они, что выход щуки бывает от свету до восхода, в девять утра, в полдень, в пять часов вечера и до заката. Я рассказал им, что при чистке Царицынских прудов была поймана щука с золотым кольцом Бориса Годунова, весом была три пуда, и спросил их, может ли быть такая щука и в Плещеевом озере.

— Есть, — сказали они, — только озеро очень глубокое, и та щука из глубины не выходит. А с золотым кольцом есть в озере язь, пустил его Пётр Первый.

— Убил ли кто-нибудь щуку за эти дни? — спросил я.

— Щука ещё не выходила, — ответили мне, — а *молошников* бьют.

Молошниками называются самцы, небольшие сравнительно с самкой, щукой.

Мельник приходил звать на охоту с круговой уткой. Не поверилось как-то, что у него утка будет кричать, — отказался. Он был весь в глине. Я ему сказал, что нехорошо бывшему дворянину ходить таким грязным.

— Такое дело, — ответил он.

— Почему же вон тот рабочий, — указал я на его мастера, — чистый?

Молодой человек смешался и, нечего делать, признался, что сегодня он ходил в исполком, и когда он ходит туда, то никогда не моется и даже нарочно грязнится: надо делать рабочую карьеру.

Вечером собрался дождь.

Оттого, что рамы одиночные и лес возле самого дома, установился сон, как в лесном шалаше, отвечающий, как зеркало, внешнему миру. Моим сновидением управляет рычащее дерево, и так выходит, будто это я сам попал в овраг, как это дерево. И вдруг резкий крик утки, и, без всякого перехода от сна к яви, догадываюсь, что это кричит круговая утка у мельника. Потом раздалось её неистовое «ах, ах!» — это значит, она увидела селезня. Я вскочил с кровати, и, пока бежал к выходной двери, селезень, наверно, подплывал к утке, и только-только я взялся за ручку, раздался выстрел. В полумраке нельзя ещё мне было с Гремячей горы разглядеть круговую утку, был виден только шалашик. с. 99

Пока согревался самовар, мельник убил ещё двух селезней.

После чая, когда, по моему расчёту, охота на уток должна была кончиться, я спустился на мельницу и, как увидел жильё, с этого часу стал мельника звать *Робинзоном*: в избушке было грязно, разломано, разбросано, через потолок виднелось небо; сам Робинзон сидел возле накалённой железки, щипал утку, с ним сидели тут же охотники и чистили картошку. Главный из охотников, Ёжка,<sup>1</sup> рассказывал много про тетеревей: что есть тетерева посиней,

<sup>1</sup>Житель г. Переславля Г. Ф. Александров. — *Ред.*

а есть пожелтей, и что есть вальдшнепы покрупней и помельче, а у крякв явно заметно различие, даже можно сказать, что ни одной кряквы нет похожей одна на другую, совершенно так же, как у людей, и то же зайцы...

Кто эти люди? Какие-то мелкие служащие, техники, считаются в городишке за полудиких людей, но они природные следопыты-краеведы, фенологи, и подлинное — не сентиментально-мещанское и не книжное, не от Руссо и Толстого — чувство природы сохранилось почти только у них. Вот из каких людей и надо искать себе сотрудников по изучению края. Это я им всё сказал, и мы заключили союз для фенологических наблюдений и уговорились вблизи Ботика ничего не стрелять из гнездящихся птиц, а по возможности даже и зайцев.

Когда заговорили о зайцах, я сказал, что на Ботике заяц выскочил из подвала.

— Русак? — спросил Ёжка. И узнав, что русак, сказал: — Зайцы постоянно ложатся на Ботике, несколько штук зимой непременно лежат в самом Переславле. Вы знаете дом К.? Не знаете? А М.? Тоже не знаете, что же вы знаете?

Я сказал, что знаю древний Переславль, собор XII века, остаток мельницы, крепости, место скудельницы, где теперь Даниловский монастырь, столб Тохтомыша...

— Столб Тохтомыша знаете, ну вот как раз против есть деревянный домик с большим огородом, и там на огороде русак жил, кочерыжки грыз. По первой пороше мы по нём пустили собак.<sup>1</sup>

Ёжка подробно рассказал про весь пробег неутомимого зайца по историческим местам: из города на Ботик и через Переславльское озеро к знаменитой Александровой горе, где раскопки обнаружили славянское языческое капище, потом опять в город на Советскую улицу и через крепость, где-то напоролся правым глазом на железный прут, мальчишки «взяли его в переплёт», и, спасаясь от них, он влетел в открытые двери милиции.<sup>2</sup> Между тем охотники, потеряв зайца, созвали собак, привязали, возвращались домой и вдруг, увидев на Советской улице свежий след, обошли его и пустили собак. Им недолго пришлось бежать, след вёл в милицию, вся стая с рёвом внеслась в учреждение, и за стаей ввалились охотники. В это время милиционеры уже не только поймали зайца, а бросили между собой из-за него жребий, кому достанется.

Дома я решил записать рассказ, интересный потому, что никогда ещё в жизни мне не приходилось гонять зверей в городе, и пробег зайца по историческим местам особенно мне казался любопытным. К сожалению, как раз на том месте, где заяц напоролся на прут, память мне изменила, и потому для справки я опять спустился на мельницу. Там был уже один Робинзон.

— Не помните, — спросил я, — где заяц напоролся правым глазом на железный прут?

Робинзон ответил:

— При переходе площадки церкви Святого Духа, тут место огорожено железной решёткой.

## Скорая любовь

Мать моей подсадной утки была просто *русская*, домашняя, но дикий селезень её потоптал несколько раз, и вышли утята — вылитые кряквы. Из них я выбрал самую голосистую и стал ею приманивать диких селезней к своему шалашу. Нет числа красавцам в брачном наряде, пленённым погибельным голосом этой крикуши... Безжалостно сердце охотника, но случилось однажды — дикий селезень взял мою утку, и я не осмелился выстрелить.

Было это на вечерней заре. Я вышел к лесу на пойме, достал из корзинки свою крикушу, привязал к её ноге длинную верёвочку с гирькой на конце, забросил гирьку, пустил утку на плёс, и сам напротив сел в шалаше и стал в щёлки смотреть на пойму.

<sup>1</sup>Кирпичный «Столб Тохтамыша» стоял до самого 1930 года близ Рождественских ворот, справа у поворота с Проездной улицы на Трубежную. Он отмечал место, где некогда стояла церковь. — *Ред.*

<sup>2</sup>Милиция тогда помещалась в здании на углу Советской и Проездной улиц, адрес его улица Советская, 14а. Позднее тут был Городской Совет народных депутатов, а теперь здесь Переславский отдел статистики, Департамент сельского хозяйства Переславского МО и Центр информации и развития Переславского МО. — *Ред.*



Летела пара кряков: впереди серая утка, за ней селезень в брачном наряде. Вдруг на встречу им откуда-то вывернулась другая пара. И вот обоим парам только-только бы встретиться, вдруг ястреб кинулся на утицу из второй пары, и всё смешалось. Ястреб промахнулся. Утка бросилась вниз и на пойме скрылась в кустах. Ошеломлённый ястреб медленно ушёл под синюю тучу. А селезень из разбитой пары, придя в себя после нападения ястреба, сделал маленький круг: нигде в воздухе его утицы не было. Вдали первая пара продолжала свой путь. Одиноким селезень, вероятно, подумал, что это за его потерянной уткой гонится чужой селезень, пустился туда и стал нагонять.

Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плёс и стала кричать. Прилетел новый одинокий селезень. Между уткой дикой и моей подсадной завязалась борьба голосами. Моя утка разрывалась на части от крика, но дикая всё-таки её пересилила. Селезень выбрал дикую и потоптал.

Совершив огромный круг, вернулась первая пара, и за ней мчался селезень, потерявший свою утицу при нападении ястреба. Неужели он всё ещё воображал, что это не чужая, а его утка летит, и за ней гонится чужой?

Его настоящая утка, довольная, очищала на плёсе пёрышки и молчала. Зато моя подсадная взялась одна без соперницы достигать селезня. И он услышал её... Так ли верно, что в их любви всё равно, какая утка, — была бы утка! А что, если время у них мчится гораздо скорее, чем у нас, и одна минута разлуки с возлюбленной равняется десятку лет нашей безнадежной любви? Что, если в безнадежной погоне за воображаемой уткой он услышал внизу яркий голос естественной утки, узнал в нём голос утраченной, вся пойма тогда стала ему, как возлюбленная.

Он так стремительно бросился к моей утке, что я не успел в него выстрелить: он её потоптал. После того он стал делать вокруг неё свой обычный селезнёвый благодарственный круг на воде. Я бы мог тут спокойно целиться, но вспомнилась своя горячая молодость, когда весь мир явился мне, как возлюбленная, и я не стал стрелять этого селезня.

## Начало движения сока у берёзы

Я срезал тончайший сучок у берёзы и сделал прочищалку для трубки. На порезанном месте собралась капля берёзового сока и засверкала на солнце. В лесу было пёстренько: то снег, то голубая лужа, и среди дня тепло. Осмотревшись вокруг, я решил, что сегодня может начаться тяга вальдшнепов, и перед вечером отправился в Соломидино к охотнику Михаилу Ивановичу Минееву просить его показать мне, где у них надо стоять на тяге. Этого Михаилу никто дедом не назовёт по виду, хотя он хорошо ещё помнит царя Александра II и у его внука, кооператора, недавно родился мальчишка. Нашёл я Михаилу не без путаницы, потому что у старика четверо сыновей, а своего дома нет — живёт он, этот деревенский король Лир, то у одного сына, то у другого: с двумя теперь уже окончательно разругался и перешёл к третьему.

Много мне наговорили про это, пока я разыскивал дом, и потом, в ожидании вечера в избе, много слышал от самого старика, и когда рассказ продолжался и по пути на тягу, я не слушал, думая, как бы мне поскорее отделаться от старика. Слова всё-таки долетали до моего слуха, и я из вежливости наугад подавал реплики.

— И суд присудил им ко-ро-ву.

— Неужели, — говорю, — корову?

— Перед истинным говорю: корову.

Старик стоит передо мной, держит меня за рукав, ходу вперёд не даёт, заполняет собой всю тишину, весь мир и ждёт моего мнения. Что же мне делать? Язык мой сам выговаривает:

— Как же быть?

Он бросил мой рукав, двинулся вперёд и сказал:

— Тогда бросил я этого сына, как твой рукав, и пошёл жить к другому.

В это время над головами у нас раздалось обыкновенное утиное «свись-свись», — из-за болтовни старика я не успел выстрелить.

— Там у вас, — сказал я, — самовар ставят, иди-ка чай пить.

— И то, — говорит, — надо идти, а чай я не пью. Чай! Там бревно, надо пособить бревно поднять.

— Ну, вот, иди-ка.

с. 103

— А ты говоришь — чай, — бревно-о-о...

Он смеялся и, отойдя немного, не выдержал, остановился, обернулся и повторил:

— Бревно-о-о!

В это время мне подумалось, в какой запряжке, наверно, теперь его сыновья, сколько забот о существовании, а вот старик всё-таки находит время ходить на охоту и как радуется оживанию природы и новому человеку! Я сказал:

— А ведь ты хитрый старик.

Он очень обрадовался, шагнул ко мне опять, весело подмигнул:

— И так сказать, ведь продналог-то не с меня берут, а с них, а там штрафовка, там...

В это мгновение я не пропустил добычу, не целясь, ударил во вторую из двух каких-то быстро мчавшихся птиц, и оказалось — это большой кряковой селезень мчался за уткой по воздушным следам. Он прошумел по берёзе и упал на уцелевшую ещё под ней снежную скатерть.

— Ну, иди, иди, — говорю старику, — иди чай пить.

— И чаю попью, — отвечает, — и на охоту пойду, и не думаю: пойду и пойду, а они — только и слышишь, что продналог да штрафовка.

Против всякого моего ожидания и старого опыта, тишина, которая мне досталась после ухода старика, была не та глубокая, исполненная силой новой жизни: эта тишина была мёртвая. Сиротливо пел на весь лес только один певчий дрозд, да блестела, тукая о чём-то, капля берёзового сока из порезанного сучка. Я не осилил такую тишину, гармония распалась, и лес стал таким страшным, когда суеверным людям приходит в голову всевозможное, — мне же он страшен в эти минуты потому, что теряю себя самого, тянет орать или стрелять в деревья, куда попало... Вдруг послышался гомон, споры, крики идущих по просеке людей, и, когда они стали близки, я узнал голос Робинзона, Ёжки и понял, что это всё те же утренние охотники теперь возвращались с тяги.

— О чём вы спорите? — спросил я, когда они со мной поравнялись.

— А спорим, — отвечал Ёжка, — что враль этот Робинзон, чего он вам утром набрехал.

с. 104

— Ничего я не брехал, — говорит Робинзон, — заяц вполне мог напороться на решётку церкви Святого духа.

— Да ты-то сам там не был: ведь там, в решётке-то, прутья в палец толщиной, а он высадил себе глаз просто о колючую проволоку...

О вальдшнепах мнения охотников разделились: одни говорили, что рано, другие — что вальдшнепы здесь, но заря холодная и они не тянули; третьи — что все помёрзли на юге и вовсе не будут тянуть.

— А бекасы ещё не токовали? — спросил я,

— Бекасы прилетели.

— Кроншнепов слышали?

— Свистят.

— Странно, что вальдшнепов нет!

— Скорее всего помёрзли.

## Старая щука

Однажды поздно вечером я возвращался из города пешком к себе в деревню. Всегда в таких случаях меня подсаживают обратные возчики леса. Так случилось и теперь. Меня догнал молодой, выпивший немного после трудной работы возчик и предложил подвезти. Как полагается в таких случаях, я отказался, но возчик настаивал. Я устроился в сани. Возчик назвал себя: Иван Базунов из Веслева.

Я слышал это имя.

— Знаменитый охотник за щуками? — спросил я.

— Спец своего рода, — ответил Базунов. — Разрешите спросить ваше имя? Я назвал.

— Вот, Михайло Михайлович, — сказал он, — имеете ли в душе какую-нибудь заразу счастья?

— Постоянную, дорогой Базунов. Разве не слыхали вы, что я охотник?

— Так это вы сами! — схватился он, узнавая меня. — Как же не слышать... Очень вам рад! Охотник, ну да! А я вот за щуками, в этом я прошёл свой университет. Так ли я выговариваю?

— Правильно.

— Очень приятно. Я вам сейчас всё объясню про эти дела, — вы поймёте. Я, конечно, охотник за щуками и в этом имею свою заразу счастья. Щука есть моя цель, но возьмите в пример человека. Другой и рад бы среди бела дня сойтись с своей любезной, да ведь никак это недопустимо, люди видят, никак невозможно. Вам-то, Михайло Михайлович, приходится этим страдать.

— Кому не случалось!

— Значит, о человеке согласны. И вот я вам скажу — точно так же и живая тварь — щука: и рада бы, икра напирает, а ведь никак нельзя. Так же, как и у человека ночь, так у щук для любовного дела есть тоже своё законное время.

— Знаю, — сказал я. — Нерест щуки бывает при первой воде.

— Совершенно верно. Когда первые потоки пойдут и вольются в озеро, щука идёт против струи, и тут я бросаю своё хозяйство и становлюсь на струю...

Долго рассказывал Базунов, как он борется за своё счастье с женой, как он обходится с ней и она его отпускает на щук. Так мы подъехали к моему свороту, но Базунов не отпускал меня и просил выслушать свой рассказ до конца.

— Солнце пригревает, — продолжал он, — человек стремится к семейному положению, так и щука: икра её одолевает. Щука лезет на мелкое место, на тонкие воды, упирается в дно, выжимает икру, а молочники её подбеляют. Бывает, до семи молочников кипит над большой щукой, она же всегда внизу, и тут — кто не умеет — ударит непременно в молочников, она же, самая большая, уходит. Но я знаю, как надо ударить, и бью острой ниже молочников, потому что я спец своего рода.

Выслушав этот рассказ, я в свою очередь рассказал один непонятный мне случай: в июле в сумерках я увидел однажды на озере, будто из воды показалась тёмная рука человека и скрылась, потом опять показалась. Было очень похоже, что волны прибывали мёртвое тело. Я пошёл туда по отмели, и это была не рука человека, а очень большая щука. Я убил её из ружья, мясо оказалось жёсткое: старая щука.

— Вот ты говоришь, — спросил я, — щука так же, как человек, знает своё время и выходит нереститься ранней весной, а ведь это было в конце лета. Что это значит?

— Я отвечу, — сказал Базунов. — В жаркие летние дни щуку тоже, бывает, тянет к берегу, потому что у ней, как у человека, остаётся воспоминание. Я верно вам говорю, потому что я спец своего рода. Старая баба иногда начинает дурить пуще молодой, потому что у ней остаётся воспоминание о своей молодой любви.

## Щучий бой

Установилась погода — днём тёплая, почти жаркая, а ночью луна и такой сильный мороз, что забереги намерзают почти на палец толщиной. А эти забереги теперь уже как широкая голубая река. Лёд держится только мысами. Но из Усоля в Переславль народ по-прежнему ездит озером на санях в базарные дни.

Щучий бой начался, и у бойцов пропадает только утро, потому что ночью вода замерзает, и если даже и выйдет где щука, то по шороху к ней не подойти с острой. Бойцы, однако, с утра занимают позиции и стоят по одному со своими острогами, неподвижные. Вечером по берегу всюду огни: стрóжат, с лучом идут по воде выше колена между берегом и льдом, один несёт козу и светит, два другие — с острогами. С часу на час ожидают выхода самых больших щук.

Я пробовал подходить к бойцам и разговаривать, все очень это не любят и даже, когда заметят подход, отодвигаются. Пробую сам стоять с ружьём, но это невыносимо скучно, не понимаю, откуда у них берётся такое терпение. После долгих наблюдений, однако, я

понял: когда кто-нибудь заметит щуку и с поднятой острогой начинает к ней подкрадываться, все напряжённо следят за ним: вероятно, терпение берётся не только от надежды заработать на рыбе, а ещё берет и азарт.

Вечером, когда темно и начинают люди сходиться, готовиться к лучению, круговая почта по озеру от рыбака к рыбаку доносит новости дня.

Сегодня новость: в устье реки Трубежа убита щука в пуд два фунта [17,2 кг] весом. Рыбак сидел на свае, увидел огромную рыбину и ударил её, как скопа: убить не убил, а только завязил в теле её свою острогу, как скопа ноги. Щука метнулась, рыбак свалился в ледяную воду, но не выпустил из рук остроги, скрылся под водой, вынырнул возле льда, вылез и вытянул уморённую щуку.

В самом городе будто бы кто-то с моста метнул острогу в большую щуку, попал и стгоряча бросился в воду, но щука ушла с острогой.

В полумраке Думнов, один из тех, что с Петром думу думали, в сторонке от всех по мелкому месту тащит огромную сваю, рушит её с воды на край льда и перебирается на лёд. Он заметил, что из-под льда время от времени показывается чудовищная голова.

с. 107 Видели, как Думнов наметился, да так и остался поднятой острогой; оказалось, побоялся ударить, — щука могла утащить его под лёд.

На берегу и ругались и смеялись, а Думнов требует себе самогонки, выпивает бутылку зараз, ждёт...

И вдруг сомнения о думновской щуке окончились, — все видели, как показалась из-под льда и вернулась назад огромная голова. Думнов требует вторую бутылку.

После второй бутылки показывается та чудовищная голова. Думнов ударил — правильно: пришел щуку ко дну. Но что теперь делать дальше, если от длинной остроги над водой остался только очень маленький кончик? Такую щуку нельзя достать на остроге, а руками не дотянешься, — как быть? Думнов не плохо сделал, что выпил две бутылки самогонки, теперь ему по колено море: спускается в ледяную воду, становится ногами на щуку, скрывается совсем под водой, там впивается пальцами в щучьи глаза, показывается снова из-под воды, волочит к берегу свою добычу. Все видят: огромная щука и с нею молочник фунтов на десять [4 кг].

Думнов бросает щуку в яму, и тут вдруг она оживает, и вот она какова: метнула хвостом, и молочник фунтов на десять отлетел от неё шагов на пятьдесят.

Думнов кушак продевает под жабры, подвешивает так, что щучья голова у него вровень с затылком, а хвост волочит по земле. Идёт в деревню, собираются бабы, вся деревня сбегается, и везде молва: Думнов щуку убил и еле-еле донёс.

И пошла молва кругом всего озера, с Воськóй стороны в Надгород, с Надгорода по Онóй стороне в Зáзерье, через Урёв в Усолье, — всюду молва: Думнов из Воськова щуку убил в полтора пуда весом, и с ней молочник был фунтов на десять.

## Лягушки ожили

с. 108 Ночью мы сели в шалаш с круговой уткой. На заре хватил мороз, вода замёрзла, я совершенно продрог, день ходил сам не свой, к вечеру стало трепать. И ещё день я провёл в постели, как бы отсутствуя сам и предоставляя себя делу борьбы живота и смерти. На рассвете третьего дня мне привиделся узорчатый берег Плещеева озера и у частых мысков льда на голубой воде белые чайки. Было и в жизни точно так, как виделось во сне. И до того хороши были эти белые чайки на голубой воде и так впереди много было всего прекрасного: я увижу ещё и всё озеро освобождённым от льда, и земля покроется зелёной травой, берёзы оденутся, услышим первый зелёный шум.

Дерево почему-то перестало рычать. Почему не рычит дерево? Вместо этого кто-то прекрасно поёт.

— Это, кажется, зяблик?

Мне ответили, что ещё вчера повернуло на тепло и был слышен лёгкий раскат отдалённого грома.

Я, слабый от борьбы за жизнь, но счастливый победой, встал с постели и увидел в окно, что вся лужайка перед домом покрыта разными мелкими птицами: много было зябликов,

все виды певчих дроздов, серых и чёрных, рябинники, белобровки, — все бегали по лужайке в огромном числе, перепархивали, купались в большой луже. Был валовой прилёт певчих птиц.

Собаки наши, привязанные к деревьям, вдруг почему-то залаяли и как-то глупо смотрели на землю.

— Что гром-то наделал, — сказал Думнов и указал нам в то место, куда смотрели собаки.

Сверкая мокрой спиной, лягушка скакала прямо на собак и, вот только бы им хватить, разминулась и направилась к большой луже.

Лягушки ожили, и это как будто наделал гром: жизнь лягушек связана с громом, — ударил гром — и лягушки ожили и уже спаренные прыгали, сверкая на солнце мокрыми спинами, и все туда — в эту большую лужу. Я подошёл к ним, все они из воды высунулись посмотреть на меня: страшно любопытно!

На припёке много летает насекомых, и сколько птиц на лужайке! Но сегодня, встав с постели, я не хочу вспоминать их названия. Сегодня я чувствую жизнь природы всю целиком, и мне не нужно отдельных названий. Со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствую родственную связь, и для каждой в душе есть образ-памятка, всплывающий теперь в моей крови через миллионы лет: всё это было во мне, гляди только и узнавай.

Просто, вырастая из чувства жизни, складываются сегодня мои мысли: на короткое время я расстался по болезни с жизнью, утратил что-то и вот теперь восстанавливаю. Так миллионы лет тому назад нами были утрачены крылья, такие же прекрасные, как у чаек, и оттого, что это было очень давно, мы ими теперь так сильно любимся.

Мы потеряли способность плавать, как рыбы, и качаться на черенке, прикрепленном к могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными летучками, и всё это нам нравится, потому что это всё наше, только было очень, очень давно.

Сегодня я отдыхаю от болезни, я не могу работать. Отчего же не позволить ещё немного роскоши этой домашней философии? В этом есть грубая правда, что человек творит мир по образу своему и подобию, но, конечно, мир существует и без человека. Больше всех это должен знать художник, и неперемное условие его творчества *забываться* так, чтобы верилось в существование вещей живых и мёртвых без себя. Мне кажется, что наука только доделывает уже лично восстановленный художником образ утраты. Так, если художник, сливаясь в существе своём с птицей, окрыляет мечту — и мы с ним мысленно летаем, то скоро является учёный со своими вычислениями — и мы летим на механических крыльях. Искусство и наука, вместе взятые, — силы восстановления утраченного родства.

К полудню, когда, как и вчера, слегка прогремело, полил тёплый дождь. В один час лёд на озере из белого сделался прозрачным, принял в себя, как вода заберегов, синеву неба, так что всё стало похоже на цельное озеро.

В лесу на дорожках после заката поднимался туман, и через каждые десять шагов взлетала пара рябчиков. Тетерева бормотали всей силой, весь лес бормотал и шипел. Потянули и вальдшнепы.

В темноте, в стороне от города, были тройные огни: наверху голубые звезды, на горизонте более крупные жёлтые жилые городские огни и на озере огромные, почти красные *лучи* рыбаков. Когда некоторые из этих огней приблизились к нашему берегу, то показался и дым и люди с острогами, напоминающие фигуры с драконами на вазах Оливии и Пантикапеи.

Да, я забыл записать самое главное: после долгих усилий мы сегодня нашли, наконец, рычащее дерево: это берёза тёрлась от самого лёгкого ветра с осинкой, теперь у берёзы из растёртого места лил обильный сок и оттого дерево не рычало.

## Весна зелёной травы

### Прилёт зябликов

*с. 110* От прилёта зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой берёзы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зелёные листики, и тут прилетает кукушка. Тогда только, после всего прекрасного, все скажут: «Началась весна. Какая прелесть!»

А нам, охотникам, с прилётом кукушки весна кончается. Какая это весна, если птицы сели на яйца и у них началась страдная пора!

С прилётом кукушки лес наполняется людьми. Выстрел какого-то баловника так действует, что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И то же бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве догадался, что впереди тебя идёт кто-то другой. Сразу свёртываешь в другую сторону, переменяя весь план только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдёшь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь: «Лес всё-таки очень велик, и, наверное, в нём есть хоть аршин земли, на который не ступала нога человека, и на этом пне, очень может быть, ещё никто никогда не сидел...» А глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупу яйца.

Я часто слышал, будто гриб, замеченный человеческим глазом, перестаёт расти, и много раз проверял: гриб растёт. Слышал даже, что птицы переносят яйца, замеченные человеческим глазом, и проверял: птицы наивно доверчивы... Я люблю от прилёта зябликов, когда ещё не трогался снег в лесу, ходить на кряж и чего-то ждать. Редко бывает совсем хорошо, всё чего-то не хватает, — то слишком морозит, то моросит дождь, то ветер, как осенью, свистит по неодетым деревьям. Но приходит, наконец, вечер, когда развернётся ранняя ива, запахнет зелёной травой, покажутся примулы. Тогда оглянешься назад, вспомнишь, сколько зорь я прождал, сколько надо было пережить, чтобы сотворился прекраснейший вечер.

*с. 111* Кажется тогда, будто участвовал в этом творчестве вместе с солнцем, ветром, тучами, и за это получаешь от них в этот вечер ответ:

— Не напрасно ты ждал!

### Поток

Заметив великий перелёт зябликов, я вспомнил о Поповом польце, окружённом мелятником, и пошёл посмотреть, не там ли отдыхают прилетающие птицы. Я не ошибся, — вся опушка была усыпана мелкими птицами, в воздухе везде были птицы, иногда такие частые, будто маком посыпано. Взлетело множество витютей с польца, и один уже был растерзан ястребом. Выплыл канюк, откуда-то взялся ворон и стал его донимать. Встретились две пары журавлей и полетели вместе. Потом показался целый караван журавлей и полетел в правильно построенном треугольнике. Иногда показывается птица необычной формы, и когда рассмотришь в бинокль — это галка или ворона тащит материал для гнезда. Но одну птицу я долго не мог определить, такая была огромная эта белая птица. К счастью моему, загадочная птица приближалась, и, наконец, я разобрал, что это галка тащила га-

зету; и когда она из-за газеты, не разглядев, нарвалась на меня и я громко крикнул, газета освободилась и упала к подножию холма.

Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь, потом солнце стало припаривать и вода прибавляться. Поля уже пестрели. Дорога, местами перемытая, оказалась высоким ледяным слоем до двух аршин. Старик из Дядькова — я хорошо узнал его в бинокль — тот самый дед, у которого на войне побили всех сыновей и он жил теперь в завалюшке со всеми их бабами, — пробирался с возом сена в город, верно берёт этот воз до самой высокой цены. Мне ему очень хотелось добра, и я с волнением дождался, когда он подъедет и увидит промоину. Казалось, что наверху, откуда бежала вода на дорогу, воды было меньше, внизу же по эту сторону была грязь и целая река воды. Но старик почему-то поехал по воде, конечно застрял и, побившись немного, справился и потащился дальше. Вскоре после него ехал молодой парень, тоже с возом сена, и, нисколько не раздумывая, двинул воз по другую сторону дороги, откуда напирала вода. Но только он двинул туда, лошадь погрузилась, и над снегом виднелась только её голова... По пояс в воде парень отпрягает, крепко ругаясь. Собираются пешеходы, и все, даже бабы, помогают вытаскивать воз. Кажется, они сделали из оглобелей что-то вроде рычага, за концы взялись бабы, мужики принажали сзади, и так мало-помалу поставили воз на дорогу. Тогда парень запряг лошадь, поехал обратно, и кто-то крикнул ему на прощанье: «Благодари бога! На этом самом месте прошлый год мужик совсем утонул».

с. 112

Обернувшись на полдень, я заметил тетёрок, перелетающих в Брусничный овраг. Я стал мантих их; они отозвались и побежали ко мне через Попово польце, совершенно как куры. Над польцем пролетел лунь. На ёлке засел конюк. Большой стайей кормились витютни. Вероятно, всех их спугнул ястреб. И когда я, провожая их глазами, обернулся, — вижу: опять тот, чуть не утонувший парень возвращается с возом назад. Я думаю, что он, с утра настроившись продать сено и выпить в городе, не мог вытерпеть и вернулся снова попробовать счастья; а может быть, кто-нибудь сказал ему, что старик переехал, и он понял дорогу: не верхом, а низом. Теперь он без всякого раздумья пустил лошадей вслед старику, без остановки перебрался и покати́л себе рысью.

Поток бежит с шумом в озеро, наливает закройки. Пролетела скопа, за ней гнались вороны. Показались певчие дрозды, и особняком от них чудесная птица, чёрный дрозд, очень стройный и с золотым клювом.

На дне оврага бушует поток, на краю сижу я, посвистываю рябчиков, на тонкой берёзе токует одинокий тетерев, где-то натуживается витютень. Я никогда не слышал и не видал такого множества маленьких птиц, — это были целые вихри: вдруг поднимутся, частые, как комары, бегают, шныряют по зеленым, спариваются в воздухе, летят все массой на опушку и все поют, и это пение вместе с пением воды, бормотанием тетерева, уркованием лесных голубей, кликом и гомоном журавлей вызывает у человека наверх самые глубокие, залежалые мысли.

Я нашёл тропу вниз, нашёл кладочку, вырубил себе топором длинный шест и, опираясь на него, перешёл на ту сторону и оставил шест на виду, радуясь, что он поможет ещё кому-нибудь перейти бурный поток.

Теперь я иду в лесу чутьём, мне нужно угадать, где будут тянуть вальдшнепы. Одна полянка кажется мне краше другой, но, пока есть время, я ищу лучшую и, наконец, одна меня приковала на месте. Тут, направо от меня, в болотной воде у ручья лента берёз, за ними просвечивает тёмный бор, налево подымается высоко суходол, покрытый мелкой зарослью; из переузки суходола и болотного леса буду ждать вальдшнепа.

с. 113

На моей полянке были разбросаны кусты можжевельника, среди них подымалась очень высокая ель, а на верхушке её, на этом пальце, сидел певчий дрозд и насвистывал время от времени в свою флейту, как будто управлял множеством лесных звуков наступающей вечерней зари.

Я не очень уверен, что вечерняя заря углубится и я тут же под кустом дожусь и утренней. Пока не совсем стемнело, я высматриваю в лесу знакомую тропинку к землянке, где когда-то изготовляли хлебное вино. Тут я долго работаю, подстилаю себе еловый лапник, зажигаю костёр. Я сплю у костра так, что ясно слышу свой храп и отлично знаю, когда нужно его прекратить и поправить костёр...

Я пробудился, когда мороз-утренник обдался росой и капли её повисли, сверкая на солнце. Множество птиц, какое бывает в наших лесах только несколько дней на перелёте, пело вокруг меня славу солнцу, земле, уже зеленеющей новыми травами. Долго я слушаю, и, когда захочу, мой великолепный призматический бинокль подаёт мне певца к самым глазам, так что я могу разглядеть каждое его пёрышко. Мой бинокль, перебрасывая отражение певца из призмы в призму, из стекла в стекло, выделяя из хаоса форму, сам по себе отличный художник, и к этому ещё я прибавляю своё.

Потом я выхожу на опушку и вижу в бинокль, как полевой дорогой, всё приближаясь к ручью, где я оставил для перехода свой ольховый шест, идёт девушка в оранжевой юбке, завёрнутой на плечи. В руках у девушки блестят новые галоши, которые она надевает только в церкви, и дождевой зонтик, раскрываемый очень редко, на людях и в самый хороший солнечный день.

Я очень рад, что мой шест помогает девушке перейти на ту сторону потока, но мне больно видеть, что она прячет шест в кусту и засыпает листвой.

с. 114

На той стороне, однако, кто-то следит за девушкой и, как только она удалилась, разыскивает шест, переносит, прячет в другое место и дожидается в кусту. Я понимаю, что девушка скоро вернётся, сажусь на пень и дожидаюсь, когда мой шест вернётся сюда.

Вихри зябликов переносятся с опушки на зелена, догоняют друг друга в брачном полете, падают на землю, спариваются и возвращаются распевать на опушку.

Вот вижу, идёт назад девушка в оранжевой юбке, подходит к ручью, ищет шест, снует там, мечется из стороны в сторону...

Я опускаю бинокль. Простым глазом мне видно, как вышел сатир из куста, вынул шест и помог девушке перейти на ту сторону.

## Тема

В рыбацкой слободе, где так бедно и тесно, я видел: чайки сидели на столбиках, и тут же дети бегали и их не тревожили. Зная своих, более культурных детей и вспоминая, сколько труда надо было положить, чтобы отучить их от жестокости, я думал: «Сколько прошло поколений рыбаков, передающих один другому заповедь охраны прекрасных и бесполезных, кажется, птиц, чтобы мальчики не швырялись в них камнями, и что одним западает в душу от Рафаэлевой мадонны, то этим бедным досталось от какой-нибудь чайки».

Сегодня приехали Петя и Лёва, бросились к чайкам и дивились им. Потревоженные детьми на местах гнездовых, они вдруг все поднялись, закрыли мне небо и поля, потом, рассыпаясь, стали — как *снег идёт*, и когда сели на зелена, то зелёное поле всё стало белым. Мы узнали, что чайки находятся под охраной населения, что стрелять их запрещается и что в народе они до сих пор ещё называются *витахами* (витают).

У детей так славно сложилось: двое у Михаила Ивановича, Соня и Сева, оканчивают вторую ступень, у Сергея Сергеича — Галя и приехали три сына, студенты, мои тоже приоделись к празднику. Все они по случаю праздника выпили на «ты» и захороводились на дворе музея.

с. 115

И вдруг, как снег на голову, без всякого предупреждения являются трое делегатов от Сокольнической биостанции юных натуралистов; один в австрийской солдатской шинели, другой в английской, третий в русской, а когда сняли шинели, то там оказалось ещё хуже: у одного даже штаны далеко не доходили донизу. У всех были сумки, сетки и за поясом наганы. Натуралисты встретились с нашей приодетой молодёжью, как люди различных миров, познакомились и разошлись. Даже на Лёве, самом передовом, сказалось влияние праздника, и когда он привёл молодых людей ко мне на Ботик, то положил:

— К тебе из Сокольников какие-то ребята приехали.

Мы познакомились. Ребята знали меня и относились с большим уважением. Подогретый сочувствием, я сел на своего конька и говорил им, что хотел бы устроить биостанцию с краеведческим уклоном и сам бы хотел работать в области сближения науки с искусством.

— Большинство животных и растений, — говорил я, — тесно связаны с жизнью человека, но до сих пор наука очень мало занималась изучением этой связи, и, вероятно, тут



должно помочь науке искусство. Возьмите чайку и рыбака, посмотрите, как удивительно сочеталась жизнь этих бедных людей с прекраснейшей птицей...

Старший из натуралистов сказал:

— Это тема!

И записал себе в книжке.

Два других вполголоса:

— Мы обсудим это сегодня же после собрания.

— Вы всё обсуждаете? — сказал я.

— Да, — ответил старший, — мы всё обсуждаем и потом коллективно действуем, и так у нас ни минуты не пропадает.

— Значит, и ко мне вы не просто пришли побеседовать?

— Мы пришли учесть вашу живую силу.

— И что же вы находите, это не секрет?

— Мы находим, что вы очень можете быть нам полезным для агитационных целей: вы прекрасно говорите и пишете; как натуралист, вы, вероятно, поверхностный, но фенологические наблюдения вы можете делать прекрасно, и очень желательно было бы, чтобы вы занялись кольцеванием птиц, потому что вы охотник и птицы часто у вас бывают в руках.

Я пожал им руки с улыбкой, и они охотно стали рассказывать о себе. Старшему двадцать лет, он окончил уже школу второй ступени и состоит лаборантом биостанции и преподавателем физики в школе — высокий молодой человек с приятным лицом, заметно руководящий и вообще председатель. Другой — помоложе, поменьше, потише и углублённый, верно, хорошая рабочая сила: секретарь. Третий — с матросскими знаками на руках, сильный малый, имел замечательную судьбу: сам из беспризорных, но как-то случайно попал на биостанцию, посмотрел, что свои же беспризорные работают с микроскопами, заглянул в стёклышко, и, как в прежнее время кто-нибудь вдруг поверил бы в бога и пошёл в монастырь, этот поверил в науку, занялся и теперь тоже окончил школу. У него немного восточное лицо, а по фамилии Палкин.

— Вот вы нас понимаете, — сказали они, — а как трудно с комсомольцами.

— Да вы-то разве не комсомольцы?

— Да, мы комсомольцы и даже коммунисты и потому понимаем явления общественной жизни глубже.

Вдруг все они посмотрели на часы: им надо спешить на собрание к местным комсомольцам, где они будут пропагандировать свой новый метод.

На прощанье я спросил:

— Как же вы думаете, возможно нам вместе с вами устроить здесь биостанцию? Председатель ответил:

— Мы учтём ваши живые силы и потом ответим определённно.

## Позеленение лужаек

С утра всё небо было закрыто. Мелкий тёплый дождик.

На лужайках показалась первая зелень, начинается весна зелёных покровов.

На кухне сказали:

— Овца и сейчас может наестся.

Снег двумя-тремя пятнами остался только в ложбинках на северном склоне Гремячей горы. Стала очень заметна работа кротов.

В пять вечера выглянуло солнце и воздух стал необыкновенно прозрачным. Простым глазом очень ясно можно было разобрать на той стороне и Городище и Александрову гору с Яриловой плешью. Со стороны деревни был слышен первый хоровод. Очень лёгкий зюйдвест незаметно за день отогнал от нашего берега на север лёд, и он теперь, желтоватый от вечернего света, сходиллся с резко синей громадой отработанных туч.

Все коммунары явились ко мне с просьбой дать им ружья и проводить их на тягу. Я дал им ружья, но сам идти не мог и предложил им в проводники Петю. Товарищи переглянулись, и председатель сказал, что он останется со мной побеседовать. Я понял, что председатель жертвует охотой для изучения моей живой силы. Я нисколько не обижаюсь

и этому изучению. Я сам изучаю, у меня свой загад, и ещё посмотрим, кто кого учтёт. Моя молодость тоже прошла в подпольной коммуне, и моё изучение похоже скорее на воспоминание.

— И так, — говорю я, — вас в коммуне пятнадцать человек — восемь юношей и семь девушек, таким образом, один юный натуралист остаётся без подруги.

— Это у нас исключается.

— Вы меня плохо поняли, я говорю о сочувствии, переходящем постепенно в любовь.

— Такая любовь ничему не мешает, и всё выражается только тем, что двое работают с одним микроскопом.

— Но если у вас, например, что-нибудь разорвётся в костюме, иголочку вы попросите всё-таки у неё?

— Да, вначале это было со мной. Я крикнул: «Катька, почини мне штаны!» И знаете, что она мне ответила?

— Конечно, не стала чинить.

— Мало того, она сказала: «Серёжа, я не понимаю такой постановки вопроса».

— Какая милая девушка, я думал — она вам скажет как-нибудь грубо. Мне очень не нравится ваша фраза: «Катька, почини мне штаны».

— Да, это девушка очень сознательная, она внесла этот инцидент на обсуждение всей коммуны. Постановили: ввиду того, что шить она большая мастерица, то пусть починка нашей одежды будет её общественной обязанностью. Она согласилась и после того с большой охотой мне починила штаны.

— Починку одежды, — сказал я, — очень понятно, можно сделать общественной обязанностью, но любовь непременно заостряется в личное чувство, и это личное потом закрепляется браком.

## Девушка в берёзах

с. 118

На берёзах только что обозначилась молодая зелень, и леса оказались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался *чудовищем*, — напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любоваться видом непрерывных светящихся берёзовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая: лоб у неё был немного высок и как-то вдруг слишком помногу неожиданно, почти под прямым углом, завёртывался к темени, и от этого приходило в голову, что эта девушка служила в аптеке. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица: нет ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь? Потом опять ныряла в окно.

Мне захотелось посмотреть, какая она там про себя, наедине с зелёной массой берёз. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зелёную массу светящейся молодой берёзовой зелени и улыбалась туда и шептала что-то, и щеки у неё пылали.

## Зацветание медуницы

Цветут тополи, осины, медуница, волчье лыко и все первые цветы.

Своим пристальным вниманием и душевным участием в переменах природы я достигаю того, что многое отгадываю, где что зацвело, закопалось, полетело; иногда удаётся мне верно угадывать и погоду, но ранней весной столько на дню бывает перемен, что и рыбаки ошибаются.

Сегодня на заре восток открыт, а по всему небу облака довольно серые и как бы сговариваются против солнца. В это время и рыбаки сговаривались для первого выезда на озеро. Первым пришёл на берег Иван Иванович, отец церковного старосты, самый старейший и самый опытный, — в озеро уж больше не ездит, а служит для рыбаков, как барометр. Когда собралась рыбаки, Иван Иванович уже по-своему как-то вывел, что к вечеру ветер погонит лёд на полдень и затрёт рыбаков и что ездить не надо.

Рыбаки думали.

Я пробовал выпрашивать и старика и рыбаков об их думах, но это были, вероятно, скорее чувства, и их изучать надо так же постепенно, как и природу. Только верно я узнал, что сейчас *нершиится* плотва-ледянка, потом пойдёт щука-грязнуха, а дальше, даже о последовательности нереста разных рыб, показания были разные.

Чтобы сгладить противоречие, старик сказал в заключение:

— На озере есть разное *прозёрство*.

Солнце против ожидания взошло победно, и рыбаки, не послушав старика, поехали между льдом и южным берегом в Урёв, где озеро посылает от себя реку Вёксу.

К семи утра солнце уже смотрит в окошко, и ветер, очень лёгонький, едва ощущаемый, начинает тянуть с севера.

В полдень поднимается свежий ветер, падает град.

К вечеру — буря, сильный снег, вся наша зеленеющая лужайка стала белой. Лёд подался к нам, навалился на берег, и всё сбылось, как утром говорил прозёр: рыбаки затёрты льдами, в Урёве.

Первый вечер у нас не лучили щук, весь берег был намертво затёрт льдом, и лучи виднелись только на севере, на свободной воде.

Посмотрев на безобразный и мёртвый лёд, этот всё ещё неупокоенный труп зимы, щучий боец Думнов сказал:

— Худой зять приехал к теще гостить.

с. 119

## Майский мороз

Всё обещало ночью сильный мороз. В первом часу при луне я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов.

Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошёл на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шёл очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошёл заутренний час и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его тёплой рукой, но цветок был твёрдый и переломился в руке.

## Дрозд-белобровик

Заведующий музеем определённо недоволен натуралистами, и, показав мне их совершенно неграмотную заметку в музейной книге, он сказал:

— Я не верю в биологию неграмотных людей. Как они будут учителями!

С какой-то точки зрения он прав, но у меня есть своя дикая точка зрения: в школе я тоже плохо писал.

С невероятным трудом я занимался в школе математикой, и наука эта мне казалась необоримой. Но когда через двадцать пять лет пришлось помочь сыну, я в три дня просто прочитал алгебру.

Теперь кто-то понял всё это, взвесил, и тот метод обучения, при котором я не мог постигнуть алгебру, называется методом *готовых знаний*, а то, как я потом, когда мне изнутри понадобилось, и я *сам* проходил, называется методом *исследовательским*. Значит, разница в том, что там, в готовом методе, *велят*, а в исследовательском занимаюсь я сам, и задача педагога состоит в пробуждении у каждого ученика этой *самости*.

Но это я так понимаю современные задачи, а на стенах даже такого живого учреждения, как Сокольническая биостанция, этот исследовательский метод изображён графически методистами так сложно, с таким множеством стрелок, крючков, лучей, что понять так же трудно, как решить самую сложную задачу по какой-нибудь сферической тригонометрии, и если такой исследовательский метод явится в провинцию, то этот труп творчества ничем не будет отличаться от труп готовых знаний.

— Вот что плохо, дорогой Михаил Иванович, — сказал я заведующему музеем, — а не то, что ребята неграмотны.

— Но ведь они нас учить хотят!

с. 120

— Зачем принимать так серьёзно: их задача — подсчитать наши живые силы.

Вечером пришёл ко мне председатель с пробирками, наполненными разными букашками, и между прочим был сосуд с водой Гремячего ключа. На вопрос мой, для чего ему вода, он ответил, что для анализа. Я сказал, что анализ самый подробный имеется в музее. Он вылил воду. Лишнее действие произошло потому, что при исследовательском методе исключается предварительное знакомство с материалом по книгам: там готовое, а надо увидеть самому. Но в школе учитель незаметно делает так, что ученику только кажется, будто это он сам подошёл к предмету, на деле — это его учитель подвёл; в жизни же непременно надо ознакомиться самому с предшествовавшими работами других, иначе непременно будет бесконечное множество раз открываться Америка.

При выходе из дома мы услышали, что, несмотря на зимний пейзаж, всё-таки в лесу изредка вечерние птицы пели.

Председатель спросил меня:

— Вы слышите, какая это птица поёт?

— Певчий дрозд.

— Да, но из певчих какой?

— Не знаю. Какой же?

— Я не могу вам сказать, у нас в школе правило, если знаешь, не говорить. Убейте его и определите сами.

— Но, дорогой, — прошу я, — сделайте для меня исключение, я терпеть не могу убивать птиц просто из любопытства и особенно во время пения, я понимаю песню природы прежде всего как песню и потом уже исследую как феномен. Помогите мне просто по-приятельски.

Он одумался и сказал:

— Это поёт дрозд-белобровик.

Нет, я ничего не вижу худого в ребятах, в их годы я был гораздо хуже, и я был у родителей, и мне, если было плохо, давали иногда для успокоения бром, а эти беспризорные были дети улицы и когда-то, может быть, нюхали кокаин. Палкин нюхал наверное.

## Худой зять

После тёплой ночи солнце встало сразу жарко и в полной тишине. По-прежнему озеро наше лежит разделённое: на севере — живая вода, у нас — злой, зелёный с белыми взрывами лёд.

Вскоре после восхода потянул, постепенно усиливаясь, ветер с юга, и к полудню послышался крик:

— Пошёл, пошёл, поехал!

— Кто поехал? — спросил я в окно.

— Худой зять, — ответил Иван Акимыч.

Мы поняли, что это лёд погнало от нашего берега к обрыву Гремячей горы.

В это время «худой зять» был уже далеко, зажатые льдами рыбаки после двух суток жизни на берегу, где-то в Урёве, радостно всем флотом возвращались домой, а у нас плескалась живая голубая вода. К берегу сходились рыбаки с острогами, тысячи чаек слетались на голубое, и все почему-то в одну точку, так что недалеко от нашего берега складывался на голубом белый остров, и как-то это бывает, что голубая вода казалась выше уровня линии города и всё-таки не заливала. Вдруг весь белый остров рассыпался чайками, и голубой сказкой через белые крылья из-под воды выглянул светлый русский город.

Глядя на сияющий Китеж, обвеянный крыльями чаек, я вспомнил, что натуралисты сегодня делают в музее свой доклад о чайках, и дети мне говорили, что будто бы они интересовались, сколько стоит выстрел из ружья, и высчитывали, не выгоднее ли будет перестрелять чаек и уничтожить вредную птицу.

В музей соберётся вся наша молодёжь, охотники, — что, если в самом деле возьмут и уничтожат эту красоту?

Я спустился к самому озеру и спросил одного старого рыбака, правда ли, что рыболовка — вредная птица.

Рыбак ответил:

— Вредная птица... Кто вам сказал? Посмотрите, сколько раз она к воде падает и всё пустая, у неё это как-то плохо выходит. А подымись на берег и увидишь; вся чайка там ходит за пахарем. Было то же раз на охоте: приехали гости из Москвы, стали разбирать, что полезно, что вредно. Услыхали, дятел долбит, и говорят: «Сколько дятел вреда приносит дереву!» А у нас тут был свой учёный человек, доктор, хороший человек, разыскал то дерево и спрашивает: «Отчего это дерево подсыхает?» Они отвечают: «Червяк точит». — «Ну вот, — говорит наш человек, — а дятел этого червя достаёт, он не враг дереву, а доктор». Так вот и ты, иди, иди наверх, посмотри, сколько чаек ходит за пахарем.

## Появление сморчков

Сегодня тёплое утро с сильной росой. После обеда брызнул дождик «из облака», а потом пролился и сильный, в опровержение распространённого мнения, будто если утром сильная роса, то непременно день сложится ведряный.

Озеро ещё не вошло в свои берега. В шоколадных лесах, кажется, зеленеют кроны каких-то деревьев, но это не деревья распустились, а через неодетый лес просвечиваются зеленеющие лужайки. По берегу озера бегают, ноги мочит, в чёрной косыночке и в чёрном переднике, белощёкая трясогузка. Качается кулик. Из жёлтой прошлогодней травы торчит хохолок чибиса. Плавает кряковый селезень с утицей.

с. 123

Тракт, рассекающий лес, погибает, в весеннее время по нему уже больше не ездят. Если так будет дальше оставаться, скоро лес вовсе поглотит дорогу со всеми телеграфными столбами. Некоторые колеи так глубоки, что в дождливые дни обращаются в русла потоков и от этого каждый раз, конечно, ещё глубинеют. В другие колеи высокие деревья сверху набросали свои семена, и то, что было раньше следом телеги, теперь превратилось в аллею из самых разнообразных деревьев. Между молодыми деревьями трава, цветы, — нигде я не встречал так много анемонов и фиалок. Но чудесна тут белая, выбитая человеческими ногами тропа; теперь она вьётся среди бесчисленных, раскрывающих почки кустарников черёмухи, орешников и молодых берёз. Порхает бабочка-лимонница. Сколько великого счастья — пройти по такой тропе! Удивляюсь, что знакомые здоровые люди уехали в Крым.

Сильно парит от земли. Пашут под яровое. Самое время роста сморчков-овсяников. В лесу сыро, идёшь — нога чавкает: поцелуи без конца. Выходишь на полянку — поцелуи перестали. Вот старый берёзовый пенёк, и на нём растёт маленькая бойкая ёлочка. Возле этого пня желанные сморчки. Берёшь их, а зяблик так и рассыпается. Я счастлив исполнением своих желаний. Я не ехал в Крым, я терпеливо переживал суровое время и вот получаю награду. Крым сам приехал ко мне.

## Ёлки зелёные

В музее натуралисты с первых слов заявили, что едва ли могут к нам приехать из Москвы для руководства вполне подготовленные сотрудники, но что на месте, по их наблюдениям, вполне достаточно живых сил, чтобы взяться за дело немедленно.

Первым докладывал Палкин о том, что изучать нужно только самое полезное, потому что в стране большая разруха, и теперь никак нельзя допустить, например, такую роскошь, как измерение зрачков серой жабы. Натуралисты должны изучать прежде всего народное хозяйство и материализм.

Один из лучших наших юных краеведов при слове «материализм» не удержался и выпалил:

с. 124

— А ежели изучать бескорыстно?

— Ёлки зелёные! — воскликнул Палкин. — Материализм не есть корысть, материализм, это — откуда что пошло и так далее. Понимаешь?

— Понимаю, но как же нам это изучать без руководителя?

— А разум? Разум — это вам не фунт изюму, возьмитесь разумно работать по нашему исследовательскому методу, и вы увидите, что двадцать юннатомов могут заменить одного профессора.

Эта несколько рискованная трактовка общей мысли о количестве, переходящем в качество, вызвала глухой ропот среди юннатов, и был один голос:

— Это смотря какого профессора.

Палкин с этим согласился, считая, что не в этом дело, а, главное, надо бороться с расслабленностью и помнить, что продуктивность нашей работы зависит от нашей связи с государственными заданиями, и поэтому увязка должна быть поставлена на первом месте.

После общего выступления председатель показал пример, как нужно пользоваться исследовательским методом.

— Возьмём, — сказал он, — тему: чайка. Начинайте исследование чайки, ни в коем случае не читая никакой книги о чайках, пользуйтесь книгой только после, как справочником. И прежде всего сделайте подсчёт всех чаек; тут-то вы и увидите выгоду нашего коллективного метода: в одиночку такой подсчёт сделать невозможно; если же вы соберёте все школы, в определённый день и час распределитесь по всем прудам и берегам озера, то сделаете это очень легко...

После того узнаётся, сколько рыбы поглощают все чайки на озере, и затем, сколько все чайки могут дать пуха. Польза от чайки — пух; вред — поглощение рыбы, — что же преобладает? А если окажется, что от чайки вред, то нужно побороть предрассудки населения и поголовно истребить всех чаек. Но даже при уничтожении не надо упускать хозяйственного принципа и высчитать, во что обойдётся стрельба и стоит ли того пух...

На этом опасном месте я дружески сказал председателю, что, из опасения, как бы охотничий темперамент наших юных краеведов не преодолел в них исследователя чаек, не мешало бы рассказать об относительности понятия *хищник*, например лисица...

Председатель с большой охотой рассказал, что лисица, конечно, хищник, уничтожает кур, но в то же время она уничтожает на поле мышей, и польза от этого гораздо большая, чем вред от уничтожения кур, так что лисица, хотя и хищник, но полезный.

А чайка тоже уничтожает насекомых, и тоже может оказаться очень полезной.

После такой подготовки сочувствие к чайкам у всех очень возросло, и можно было как-то незаметно вернуть, что, прежде чем предпринимать сложную работу исследования пользы или вреда от чаек, хорошо бы справиться в научной литературе, — может быть, окажется этот вопрос о чайках давно решённым. Но главное и нужное пришло под самый конец. Оказалось, что натуралисты прекрасно умеют препарировать птиц, и нам было чему от них поучиться. Ещё у них были с собой кольца из алюминия для того, чтобы надевать их перелётным птицам на лапки и отпускать лететь, куда им положено, и там, где-нибудь в Новой Гвинее, их ловят, мы же ловим их птиц, и так люди узнают воздушные пути птиц, и по этим путям узнают многое из жизни нашей планеты.

# Весна леса

## Вскрытие озёр

В истории земли жизнь озёр очень кратковременна: так вот было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее, а теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещеево озеро ещё очень молодо и как будто не только не замывается и не зарастает, а всё молодеет. В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу вместе с остатками воды Берендеева озера перекачивается и сказка о берендеях.

Учёные говорят разное о жизни озёр; я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже, как озеро: я непременно умру, и озера, и моря, и планета — всё умрёт. Спорить, кажется, не о чем, но откуда же при мысли о смерти встаёт нелепый вопрос: «Как же быть?»

Думаю, это, наверно, оттого, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и своё чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком: «Все люди смертны, я — человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу». Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом: помирать собирайся, а рожь сей.

с. 126

Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я не молод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой, и знаю, что когда он полон — все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам всё-таки я ставлю с большим удовольствием, мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной.

Только в самое светлое время утренний свет встаёт раньше меня, но и то я всё-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня, наливаю водой из Гремячего ключа, зажигаю лучину и ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца, на чёрном ходу. Тут на верхней площадке, пока вскипает самовар, я приготовлю на столе два прибора. Когда поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол — и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сижу за столом, а сам Берендей, оглядывая всё своё прекрасное озеро, встречает восход солнца.

Вскоре приходит к чаю Берендеевна и, оглядев, всё ли в порядке у самого, велит:

— Опять бородищу запустил, страшно смотреть, оботри усы.

Она пробирает Берендея, и всегда на *вы*, так равняя его с ребятами, и Берендеи с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом *жена*, у Берендея уже прошло, и жена ему стала как мать, и собственные дети — как братья-охотники. Придёт, может быть, время, и Берендеевна станет ему женой-бабушкой, внучата — новыми братьями, — младенцем пришёл, младенцем уйдёшь, как и в озёрах; одни потоки вливаются, другие истекают, и если ты бережёшь кувшин полным, то жизнь бесконечная...

Мало-помалу сходятся из леса берендеи: кто принёс петуха, кто яиц, кто домотканые сукна и кружева, Берендеевна всё внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает, сам же Берендей выспрашивает всех, кто где живёт, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки.

с. 127

Сегодня был один берендей из Половецкой волости и рассказывал, что у них там в болотных лесах есть дорога на три версты, брёвнышко к брёвнышку, и очень звал к себе

в гости посмотреть и подивиться *деланной дороге*. Другой берендей, из Вedomши, дегтярник, долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый дёготь, варит смолу и скипидар. Третий был из Заладьева.

— Что это значит такое, — спросил Берендей, — как это понять: за-ладье?

— А у нас там бежит речка, мы за речкой живём, речка же называется Лада.

— Речка Лада, как хорошо! — восхищается сам Берендей.

— Да, — соглашается довольный гость, — ведь у нас за Ладой пойдут всё гладкие роскоши и по Утехину-врагу и всё добрые села: Дудень, Перегудка, Хороброво, Щеголеново и Домоседка.

— У нас же, — сказал берендей-залешанин из Вedomши, — только пень, смола, муха разная, комар, и села недобрые: Чертоклыгино, Леший Роскос, Идоловы Порты, Крамолиха, Глумцы.

Реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места — всё Залесье светится этим капризным узором. И всё это загадывается оплавать сам Берендей, когда совершенно освободится от льда Плещеево озеро.

Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревыми красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся берендеи, и сам Берендей исчезает.

Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу.

Почему-то сегодня я не могу ничего делать, всё как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пёс Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает всё, но не может сказать, а человек может сказать, но не знает всего.

с. 128

— Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли лошади, и говорят, что так скучно стало с одними автомобилями. А посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах, говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц... Ярик, давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг вёрст на двадцать пять остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в неё будут допускаться только немногие, доказавшие особенную силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов.

Я бы так ещё долго разговаривал с Яриком, но вдруг Берендеевна крикнула:

— Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!

Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне всё своё лучшее и я своё лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей...

И я вспомнил то моё весеннее время, когда она мне сказала: «Ты взял моё самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую тридцатилинейную лампу «молнию» и повернул всю жизнь по-своему...

Что вышло из этого?

Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчания и нелепо сказал, только чтобы сказать:

— Видите, там утка чернеется.

Глубоко вздохнула Берендеевна и тоже сказала:

— Если бы я была прежняя, девочкой, да увидела такое озеро, я бы на коленки стала...

То был великий день весны, когда всё вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней: всё это было необходимо для творчества этого дня...



## Первое кукование

Что же другое можно было придумать, увидев открытое озеро: не теряя времени даром, идти краем воды в лес и дальше в глубину леса, в село Усолье, где работают лодочные мастера.

с. 129

На пути нашем всё было так, будто уже и устроился тот заповедник, о котором я разговаривал с Яриком.

Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий невылазный болотный лес, переходящий в огромные болотные пространства. В бору на солнечных пятнах по брусничнику нам стали показываться какие-то движущиеся тени, и, подняв голову вверх, я догадался, что это там неслышно от сосны к сосне перелетают коршуны.

— Всё как-то холодно было, а вчера вдруг всё и пошло, — сказал нам лесник.

— Заря всё-таки, — ответил я, — была довольно холодная.

— Зато сегодня утром-то как сильно птица *гремела!*

В это время раздался крик, и мы едва могли в нём узнать первое кукование: оно гремело и сплывалось в бору. И даже зяблики, маленькие птички, не пели, а гремели. Весь бор гремел, и неслышные, различимые только по теням на солнечных пятнах по брусничнику, перелетали с кроны на крону большие хищники.

## Первый зелёный шум

К вечеру солнце было чисто на западе, но с другой стороны погромыхивали тучи, сильно парило, и трудно было угадать, обойдётся или нет без грозы в эту ночь. На пару во множестве цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый горошек. Берёзовый лист, пропитанный ароматной смолой, сверкал в вечерних лучах. Везде пахло черёмухой. Гомонили пастухи и журавли. Лещ и карась подошли к берегу.

Увидев в нашей стороне большое зарево, мы струхнули: «Не у нас ли это пожар?» Но это был не пожар, и мы себя спросили, как всегда спрашиваешь всю жизнь, видя это и не узнавая опять: «А если не пожар, то что же это может быть такое?» Когда, наконец, ясно обозначилась окружность большого диска, мы догадались: это месяц такой. За озером долго сверкала зарница. В лиственном лесу от лёгкого ветра впервые был слышен зелёный шум.

с. 130

## Первый соловей

При выезде из реки в озеро, в этом *урёве*, в лозиновых кустах вдруг рявкнул водяной бык, эта большая серая птица выпь, ревущая как животное, с телом, по крайней мере, гиппопотама. Озеро опять было совершенно тихое и вода чистая — оттого, что за день ветерок успел уже все эти воды умыть. Малейший звук на воде был далеко слышен.

Водяной бык вбирал в себя воду, это было отчётливо слышно, и потом «ух!» на всю тишину рёвом, раз, два и три; помолчит минут десять и опять «ух»; бывает до трёх раз, до четырёх — больше шести мы не слышали.

Напуганный рассказом в Усолье, как один рыбак носился по озеру, обняв дно своей перевёрнутой волнами вверх дном долблёнки, я правил вдоль тени берега, и мне казалось — там пел соловей. Где-то далеко, засыпая, прогомонили журавли, и малейший звук на озере был слышен у нас на лодке: там посвистывали свиязи, у чернетей была война, и потом был общий гомон всех утиных пород, где-то совсем близко топтал и душил свою самку кряковой селезень. Там и тут, как обманчивые вежи, вскакивали на воде шеи гагар и нырков. Показалось на розовом всплеске воды белое брюхо малой щуки и чёрная голова схватившей её большой.

Потом всё небо покрылось облаками, я не находил ни одной точки, чтобы верно держаться, и правил куда-то всё влево, едва различая темнеющий берег. Каждый раз, как ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая, сколько раз ухнет. Было удивительно слышать эти звуки очень отчётливо за две версты, потом за три,

и так всё время не прекращалось и за семь вёрст, когда уже слышалось отчётливо пение бесчисленных соловьёв Гремячей горы.

## Майские жуки

Ещё не отцвела черёмуха и ранние ивы ещё не совсем рассеяли свои семена, а уж и рябина цветёт, и яблоня, и жёлтая акация, — все догоняют друг друга, всё разом цветёт этой весной.

с. 131 Начался массовый вылет майских жуков.

Тихое озеро по раннему утру всё засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела, — кружок, где рыба голову показала из воды, — дырочка.

Лес и вода обнялись.

Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, и сучья тут же валялись, на них ещё лежали сучья осины и ольхи с повялыми листьями, и всё это вместе, все эти повреждённые члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать, благоухая.

## Иволги

Свечи на соснах стали далеко заметны. Рожь в коленах. Роскошно одеты деревья, высокие травы, цветы. Птицы ранней весны замирают: самцы, линяя, забились в крепкие места, самки гоняют на гнёздах. Звери заняты поиском пищи для молодых. У крестьян всего не хватает: весенняя страда, посев, пахота.

Прилетели иволги, перепела, стрижи, береговые ласточки. После ночного дождя утром был густой туман, потом солнечный день, свежевато. Перед закатом потянуло обратно, с нашей горы на озеро, но рябь по-прежнему долго бежала сюда. Солнце садилось из-за синей тучи в лес большим несветящим лохматым шаром.

Иволги очень любят переменную, беспокойную погоду: им нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и ветер бы играл листвою, как волнами. Иволги, ласточки, чайки, стрижи с ветром в родстве.

Темно было с утра. Потом душно, и сюда пошла на нас большая туча. Поднялся ветер, и под флейту иволги и визг стрижей туча свалилась, казалось, совсем куда-то в Зазёрье, в леса, но скоро там усилилась и против нашего ветра пошла сюда, чёрная, в огромной белой шапке. Смутилось озеро: ветер на ветер, волна на волну, и чёрные пятна, как тени крыльев, быстро мчались по озеру из конца в конец. Молния распахнула тот берег, гром ударил. Иволга петь перестала, унялись стрижи. А соловей пел до самого конца, пока, наверно, его по затылку не ударила громадная тёплая капля. И полилось, как из ведра.

## Стрижи

с. 132 После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой.

Этот непрерывный днём и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из Гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем... Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, чёрные ласточки, — и у всех одно дело, разделённое надвое: самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба подымается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа.

По строгой заре, когда ветер немного поунылся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась; щука была больше, сильнее скопы, после короткой борьбы щука стала опускаться

в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзённые в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли пёрышки птицы и смыли следы борьбы.

На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без вёсел и паруса. Один челнок, без человека, был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо в овраг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы всё-таки решили ехать туда, узнать, в чём же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повёл челнок против волн.

Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто изморённый рыбак уснул в челноке, но не всё ли равно: нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели.

## Глаза земли

К самому вечеру так стихло, что листок на берёзе не шевельнулся. Под Гремячей горой на дороге всё куда-то едет и едет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милый, что не будь смешно на людях — поцеловал бы...

с. 133

Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах, и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на Гремячую гору. Почти с каждой подводой бежит жеребёнок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена и что ему до шести недель не пришлось дожидаться, женился и никак иначе нельзя — шесть человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей сорок, ему шестьдесят, у неё же, у Марьи, телушка. На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи, и через весь обоз полетело: те-луш-ка...

И вот до чего, наконец, стихло, что с урёва за семь вёрст было явственно слышно, как ревел водный бык.

А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать бельё, и мальчик, подняв рубашонку, хотел помочиться в воду, то слова женщины у воды были так отчётливы, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику:

— Что ты, бесовестный, делаешь, в глаза матери...

Значит, она думала, что озеро, это — глаза матери-земли?

Как всегда в таких случаях, я спросил Берендеевну, что она думает об этом.

— Конечно, земли, — сказала она, — а потом это же и на человека переводят: если у женщины заболят глаза, то в деревне скажут, что, наверно, это её ребёнок помочился в воду.

Так у берендеев распался древний культ: поэтическое воззрение о глазах матери-земли переходит в культуру всего человечества, а у самих остаётся лишь суеверие.

Невозможно было этой ароматной ночью уснуть, всю ночь глаза матери-земли не закрывались.

## Тайны земли

Лучший вид на Плещеево озеро — с высоты Яриловой плещи Александровой горы, вблизи которой некогда стоял город Клещин. В то время и озеро называлось *Клещино*. Князь Юрий Долгорукий перенёс Клещин в болото, в устье реки Трубежа, и этот *город перенял славу* у старого Клещина. Постройка города началась с церкви, которая до сих пор сохранилась и в истории искусства занимает почётное место как памятник XII века. С тех пор вокруг этого старого собораросло столько церквей и монастырей, что с небольшими перерывами здесь можно, изучая памятники, век за веком представить себе почти всю русскую историю. Мне теперь, когда озеро открылось, часто приходится ездить с Ботика по озеру в Трубеж рыбацкой слободой, в центр города на базар за провизией. Дети гребут, я правлю и думаю о памятниках старины. Иногда это бывает очень приятно, но я не люблю того маленького насилия над собой, чтобы войти в чужую эпоху, и даже замечал, что иногда с ненавистью смотрю на эти неподвижные памятники, перемешанные с памятниками

с. 134

величайшего безвкусица, и тут, бывает, где-нибудь возле ветхого домишка сидит на лавочке и грызёт семечки с матушкой осоловелый от скуки служитель культа. Но я перемагаю капризы настроения и каждый раз при поездке за провизией на базар спрашиваю рыбаков о той церкви, другой и о попах. Так однажды я беседовал с рыбаками об одной запустелой церкви, потом о лодке усольского типа и купанского, что вот на моей лёгкой усольской лодке опасно выезжать на середину озера, а хотелось бы поплавать под парусом по середине. Тогда рыбаки вдруг все согласно сказали мне:

— Поезжайте на *попе*.

И тут оказалось, что та забитая церковь окончилась в своём действии очень недавно: сначала ушёл дьякон и служил один поп Филя — и очень даже довольный, что дьякон ушёл.<sup>1</sup>

А когда и дьячок ушёл и сторож, поп Филя пел за дьячка и за сторожа церковь мел, и сам звонил — и был ещё довольнее. Так вёл он своё дело весело до самого последнего прихожанина и, только уж когда все прихожане отказались, кончил служить и занялся озёрной жизнью — возит из леса в город дрова, людей.

— На попе вам проехать самое удобное, — сказали рыбаки, — и куда хотите повезёт, хоть на Волгу, хоть в Астрахань: сила громадная, и человек очень весёлый и хороший.

С тех пор ни одной поездки моей с провизией не проходит, чтобы кто-нибудь не рассказал мне о попе: то, как он раз служил с архиереем за три рубля и, когда проходил с крестным ходом по базару и заметил у торговки каких-то необыкновенных больших окуней, забыл про ход и занялся окунями и базаром до того, что упустил ход из виду и в полном облачении потом, вспомнив, бегом догонял. То рассказывали, как он работает на пожарах и какое множество людей вытащил из огня. Теперь же полюбил озеро и так пристал к этому, что вот недавно давали ему где-то в уезде очень богатый приход, и он отказался, а семья живёт в бедности, матушка работает на фабрике.

Мало-помалу я так заинтересовался попом, что всех стал спрашивать, и один умный юрист сказал, что раз на суде поп защищал рыбаков — и с такой силой и проникновением в рыбацкую душу, как никто бы не мог сделать, и вообще он замечательно интересный человек, но только не признает никаких норм.

— А что он — верующий? — спросил я.

— Скажите, что значит верующий? — ответил историк. — Он очень честный, прямолинейный, как оглобля, упрямый и верный, но у него совсем нет интеллекта. Что делать? Одному даётся одно, другому другое, попу дана страшная сила, и ему за шестьдесят лет, а сила не убывает нисколько.

Странно, что я, столько наслышанный о попе, ни разу не вздумал прокатиться с ним по озеру и расспросить его о названиях ручьёв, урочищ и связанных с ними легендах. Нужна была целая сложная сеть обстоятельств, чтобы познакомиться с ним и начать на его лодке большое путешествие.

## Экспедиция на попе

Мы задумали с историком исследовать языческий обряд «*крапивное заговенье*» в одном довольно отдалённом селе: я мечтал этим языческим обрядом в момент наибольшего развития производительных сил природы закончить фенологические наблюдения этой весны. Идти туда мы хотели пешком большими болотами, и потому я заказал другому бедному попу, добывающему себе средства существования сапожным ремеслом, хорошие непромокаемые сапоги. Он согласился мне сделать сапоги, если только я сам с ним вместе пойду и выберу товар. Мы пошли в одну частную кожевенную лавку, и когда прощупывали разные кожи, в лавку вошла какая-то рыбачка, поклонилась батюшке и спросила торговца, правда ли, что с церкви святой Варвары сняли колокол и продали.

— Вона хватилась, — сказал торговец, — сняли и увезли в Москву.

с. 136 — В Москве много колоколов, — сказала рыбачка, — куда же он там?

<sup>1</sup>Отец Филимон, священник Введенской церкви г. Переславля. Он жил в доме № 8 по Плещеевской улице. — *Ред.*

Торговец незаметно подмигнул батюшке и ответил рыбачке:

— В Сандуновские бани.

— Будет брехать, — сказала рыбачка.

— Ну, вот ещё, брехать, — ответил торговец.

Тогда рыбачка поверила и спросила, зачем нужен колокол в бане.

— Есть такое постановление, — ответил торговец, — чтобы в Москве в бани непременно по звону ходили.

Я тогда не обратил внимания на шутку торговца, желающего по-своему угодить служилей культа, но когда поехал за готовыми сапогами и побывал на базаре, то слышу — на базаре говорят:

— Варварин-то колокол в баню не пошёл. Дроги разломал и сел на дороге: «Зачем, говорит, вы меня в баню продали, не пойду» — и не пошёл. Стали его осматривать, и оказалось, что висел он на одном ухе, на малом, а большое ухо треснуто и что как на колокольне он висел с испокон веков, так бы всё и висел, а в бане на малое ухо повесить невозможно. Московские говорят: «Нам эдакого не надо, берите назад», а в музее отвечают: «Вы бы в оба глядели, когда покупали, а мы деньги получили и знать ничего не хотим».

Услыхав такую историю, я иду в музей и тут узнаю, что колокол этот, как не имеющий никакой музейной ценности, действительно продан в одно село Московской губернии и правда, что по дороге он рухнул и большое ухо у него действительно оказалось треснутым, но спора никакого не было, и теперь, кажется, его уже везут дальше.

Мы посмеялись над этой чепухой, и я сказал, что недурно бы из этих колокольных средств рублей хотя бы десять взять для нашей экскурсии. Но оказалось, что взять можно другим путём и двадцать, и тогда уж и дальше проехать берегом Кубри: там где-то есть *Жданая* гора, а, по летописи, на Жданой горе была та самая битва суздальцев с новгородцами, которая вдруг обнаружила силы Суздальской земли, и с этого момента надо считать начало Великороссии. На Жданой горе, наверно, остались следы той битвы, и вот бы хорошо там покопать. Хорошо бы взять с собой для работы юных краеведов и фауниста Сергея Сергеича для исследования природы Кубри, потом есть у нас молодой художник, есть фотограф, есть ботаник, геолог...

с. 137

Так всё стало нарастать, нарастать, получилась экспедиция, одной подводой оказалось мало и двух мало, колокольные расходы выросли до пятидесяти рублей.

Когда пятидесяти рублей оказалось мало, у Михаила Ивановича вдруг блеснула гениальная мысль. Явилась она впрочем, не совсем из-за сокращения расходов, а потому, что весь этот путь был древнейший водный путь отдалённых от наших времён народов, оставивших на берегах рек неолитические стоянки, городища, курганы.

— Мы едем все вместе на большой лодке! — сказал заведующий.

И вслед за этим:

— Едем на попе!

С этого момента мы стали готовиться к экспедиции, и у кого как, а у меня мысль об экспедиции каким-то образом связывалась нераздельно с необыкновенным попом.

## Ход окуней

Назови мы свою поездку в глубину Переславльского уезда просто экскурсией, то едва ли удалось бы заманить с собою молодёжь: экскурсия, с тех пор как вошла в курс, перестала иметь обаяние, но мы назвали поездку на *попе* экспедицией, и к нам примкнули не только младшие следопыты, а ещё и несколько студентов, которых мы, в отличие от следопытов, назвали «робинзонами». Следопыты чертят карты, учатся под руководством старших, как измерять высоты барометром, как вычислять скорость течения, набивать чучела птиц, кольцевать. Робинзонов влечёт чисто приключенческое чувство, и занимаются они больше хозяйственной частью. Петя отдался влиянию робинзонов и принялся лески сучить. Он задумал снабжать экспедицию рыбой и хочет испробовать незнакомое уму ужение на большой глубине. Сегодня с утра шёл дождь, а когда разяснело, на озере показались четыре лодочки, издали маленькие, как мухи, и стали против Надгорода на якоря. Петя тоже поехал удить и стал недалеко от них, пятой мухой. Скоро солнце скрылось, и в Зазёрье

с. 138

вода стала серебряной, а у нас — как сталь. Подул ветер, всё почернело. Явилась огромная туча, исчезли все полоски серебра, и везде был чугу́н с белым взваром. Лодочки в чугу́нных волнах то покажутся, то спрячутся. Полил дождь как из ведра, и всё скрылось.

Я терпеливо стоял на Гремячей горе под деревом в ожидании света, и когда перестал дождь и снова прояснело, одна за одной показались и лодочки. Я успокоился, вернулся домой и сказал: «Целы!» И так за день раз пять принимался дождь, лодочки то исчезали, то показывались. Вечером явился Петя, насквозь мокрый, и мы ели уху из окуней.

## Робинзоны

Через каждые три дня мы собираемся и обсуждаем будущую нашу экспедицию. У каждого специалиста есть своя тема, у меня одного нет темы. Я пользуюсь для изображения края своей врождённой способностью объединять пережитое, впечатления от жизни, от прочитанного и представлять всё в лице, которое в повестях называется *героем*. В конце концов этот *герой* берётся из самого себя, из своих собственных мыслей и чувств. Но вместо того чтобы отдавать свои мысли и чувства вымышленному лицу, я отдаю их тому краю, который меня интересует, и так получается край, как живое существо. Я полагаю, что этот простой приём не изменит мне и теперь, и, описывая моменты встречи моей с краем, я получу картину, которую невозможно получить, складывая вместе работы учёных, исследующих край в области своей специальности. И потому я своё место в экспедиции занимаю по праву наравне с учёными специалистами.

с. 139

Пока мы обсуждаем свои темы, все юные краеведы — и робинзоны и следопыты — молчат, но как только сегодня начал обсуждаться вопрос о снаряжении, робинзоны вдруг взяли решительный верх над старшими. Прежде всего оказалось, что большая озёрная лодка отца Филимона, если мы, пятнадцать человек, сядем в неё и нагрузим вещи, не пройдёт на мелких местах, и потому вместо неё надо взять четыре лёгкие речные лодочки. Но тут выходило, что если могучий поп не поедет с нами, то грести придётся самим, а тогда едва ли можно будет сделать что-нибудь для науки. После долгих дебатов решаем лодку отца Филимона взять, но посадить в неё не больше семи человек, остальных же распределить на двух лёгких речных лодках. И тут стал вопрос о вёслах: рыбацкими вёслами нам без привычки грести долго невозможно, — надо непременно сделать весла размашные. Михаил Иванович предложил для этого колокольные средства, но студенты отвергли этот расход и, с малолетства привыкшие к озёрной жизни, решили: доехав до леса, свалить сосну и сделать весла самим. Разговора о палатках, инструментах было мало: барометр, анемометр, термометры, драга, энтомологические приборы, ружья, — всё нашлось.

Но вот вопрос: можно ли в закрытое время ловить бреднем рыбу? Ответ студентов: «А кто же нам будет указывать среди безлюдных болот?» Другой вопрос: в закрытое для охоты время можно ли убивать для еды линялого селезня или тетерева? Робинзоны ответили, что при нужде можно и деревенского барана убить, а не то что дикого селезня. Под конец решили не тратить средств на котёл, а на всю братию взять просто две лошадиных бадьи.

Мы, старшие, переглянулись, и кто-то сказал:

— Весело будет.

## Отъезд экспедиции

Со всеми следопытами и одним робинзоном на своей лодке я выеду прямо с Ботика, и на Урёве мы все съедемся. Поля ходила в рыбацкую слободу за сапогами и рассказывала потом нам ужасную сцену: два делегата от Робинзонов приходили к отцу Филимону, чтобы приделать к его лодке кулаки для размашных вёсел, но отец не только не дал им портить свою лодку, а даже после спора будто бы наотрез отказался ехать с экспедицией.

Мои следопыты заснули в большой тревоге, им представляется, что если не придётся ехать на *поне*, то мало будет занятого. Так поп, ещё не виданный нами, вошёл в состав экспедиции каким-то сказочным существом.

Пыльца цветущих деревьев, луговых трав и древесного пуха покрыла тонким слоем всю поверхность воды, и от этого ранним утром озеро было как неумытое. Наша лодка оставляет неисчезающий след и — тоже птицы, и когда рыба взметнётся, даже от неё остаётся кружок.

Солнце нам посылает на озеро все лучи, и с Александровой горы на озеро смотрит-ся Ярилова плешь: хорошее предзнаменование, ведь, с моей точки зрения, главная цель экспедиции — исследовать остатки ещё живого культа древнего бога плодородия Ярилы.

с. 140

В утренней белой вуали озеро лежит совершенно тихое, и далёкая лодочка на нём движется, как муха по простыне. Не это ли едет отец Филимон? Нет: мала лодочка, и главное, что одна, — наших лодок должно быть непременно две.

Мы уже от Ботика проехали Куротень, весь Захап, когда на той стороне против Александровой горы ясно обозначилась на тихой воде большая поповская лодка и впереди неё с красным флагом шла малая лодка робинзонов. Ехали они самым краем; поп в притычку, робинзоны на размашных, значит — поп на своём настоял и не позволил прибить к лодке своей кулаки. Шли они очень быстро, и пока мы гонялись в тростниках за гагарой, вдруг оказались и мы и они на равном расстоянии от Урёва. Заметив это, наши ребята принялись работать вёслами, и очень скоро я, наконец, увидел знаменитого попа, работающего рулевым веслом своей длинной долблёной пироги. Он — высокий, сухой, в сером полукафтоне и соломенной шляпе. Борода неопределённого цвета, наверно седеющая. Словом, поп — как поп, а впереди красный флаг. На носу поповской лодки была навалена масса вещей, тут примостился фаунист Сергей Сергеич и уже размахивал, ловя насекомых, своим сачком. Михаил Иванович сидел посредине, как пчелиная матка. Впереди него работал усердно веслом, помогая попу, Борис Иванович, молодой художник,<sup>1</sup> а на отдельной лавочке сидел какой-то ясный старичок с белой бородкой.

Мы съехались все на Урёве нос с носом и, выйдя на берег, узнали печальную новость, что геолог обманул нас, не приехал из Москвы и не привёз заказанных ему пластинок для фотографии, ботаник тоже отказался, но зато всю эту беду покрыло радостное известие, что внезапно приехал всем известный археолог, академик Спицын, и будет раскапывать с нами курганы и стоянки первобытного человека: ясный старичок, значит, и был сам Спицын.

Я был особенно счастлив, потому что в жизни своей имел два серьёзных пробела: не летал по воздуху и не рылся в земле с археологами, а тут вдруг так пришло, что прикоснусь к таинственным недрам земли через самого Спицына и, значит, удовлетворю своё желание сразу всё целиком.

## Канал краеведов

Как же назвать нам наши долблёные суда, которым выпала высокая честь совершить по Нерли и Кубре такое исключительно интересное плавание? Само собой определилось название для лодки, на которой поедут наши младшие краеведы, — <Следопыт>, а для студенческой — «Робинзон», о третьей же лодке начался спор: одни хотели назвать её «Попадья», другие «Матушка», третьи «Бадья».

с. 141

— Бадья-то почему? — спросил поп Филя.

— А как же, — ответил один из робинзонов, — потому что поп попадью переделал на бадью.

Поп Филя стоял, опираясь на весло, высокий, сухой, и улыбался своими резкими, как сабельные удары, морщинами: ему было очень хорошо!

Михаил Иванович, однако, усмотрев в названии «Бадья» дурной намёк на действительное положение матушки отца Филимона, предложил назвать его лодку «Фрегатом Палладой». В конце концов решили, что пусть судно будет называться своим естественным именем «Матушка», но мы должны все так дружно работать, сделать всё так прекрасно, чтобы после путешествия «Матушка» сама собой сделалась «Фрегатом Палладой».

В это время фаунист уже косил своим белым сачком по прибрежным растениям и, осмотрев попавшее в сачок, весь просиял: укос был необычайный и особенно много было

<sup>1</sup>Борис Иванович Покровский, преподаватель рисования в школе II ступени (ныне школа №1). — *Ред.*

нужных ему радужниц. Тут же он высыпал содержимое сачка в фотоколлектор: жучки поползли на свет, проваливаясь в банку. Часть робинзонов отправилась на охоту, другие, по указанию фауниста, собирали в воде жуков и плавающие семена растений. Следопыты, заметив барометр, пустили на воду свои поплавки для измерения скорости течения, а также мерили ширину озёрного устья реки Вёксы.

Итак, у нас получалась действительно экспедиция, а не школьная экскурсия, потому что всё делалось не для учёбы, а взаправду. Каждый зарегистрированный факт: скорость течения, ширина реки, — всё было совершенно ново и нужно. А название устья Урёв оказалось не единственным, — так в этом краю вообще называется устье озёрных рек. *Вёкса* тоже не собственное имя: так называются реки, соединяющие на близком расстоянии два озера, в этом случае — Плещеево и Сёмино.

с. 142 Сразу же, выйдя из озера, Вёкса делает крутой поворот, потом ещё и ещё, так что двум едущим по соседним излучинам почти что можно бы друг другу руки подать. И так вся река, и никто не хочет прорыть каналца из излучины к излучине. Мы решили начать своё путешествие опытом такого серьёзного дела и, выйдя на берег, принялись копать. Особенно старался работать батюшка, которому часто приходится тут возить дрова и путаться на быстрых изгибах. Он говорил, что давно бы и сам прокопал, но боится населения: очень подозрительны, суеверны и за доброе дело ещё могут шею наколотить. В какие-нибудь двадцать минут, работая железными лопатами и вёслами, мы прокопали канал, — вода хлынула. Свободно проплыла сразу без нашей помощи лодка следопытов, робинзоны протолкнули свою, но «Матушка» засела и остановила течение. Мы все поднажались, и, когда прошла эта большая лодка, могучим потоком хлынула вода и отделила землю излучины, как островок.

Наш батюшка сказал:

— Если бы кто-нибудь это сделал, я сам бы дал ему пятачок.

И тут же новому острову мы дали название «Пятачок», а новое русло назвали «Канал краеведения».

В этот торжественный момент открытия канала Сергей Сергеич прочитал свой сочинённый накануне краеведческий марш. Робинзоны переложили его на «Варшавянку» и, плывя под красным флагом, запели:

Вперёд, краеведы, до славной победы!

Весело стало. Археолог сказал:

— Ну, и погодка!

Поп ответил:

— А у меня перед чем-то мозжит нога.

## Стоянка первобытного человека

с. 143 Внутри кольца, образуемого Большой Нерлью и Кубрей, в этой до сих пор болотной лесной пустыне и теперь почти не было селений, как и тысячи лет тому назад, во время неолитического человека, когда он, боясь этих пустынь, пробирался речками, и там, где ловилась рыба и попадался зверь, останавливался на продолжительное время. По болотистым истокам озёрных рек и нужно ехать до первой остановки, сухой полянки, где рыбаки разводят теплину, и почти безошибочно можно сказать, что там, на месте нынешних рыбацких костров, и в каменном веке рыбаки собирались на стоянку и оставили нам после себя культурный слой.

На Вёксе мы причалили к первому сухому берегу, где можно было ступить твёрдой ногой, и в светлой воде увидели над песком тёмный слой, очень возможно, что и культурного происхождения. *Польцо* — называлась теперь эта расчищенная в лесу полянка, потому что сравнительно в недавнее время здесь кто-то пахал. Наслышанные уже о только что открытой и неразведанной стоянке первобытного человека, наши следопыты и робинзоны, ещё не выходя на берег, вытащили из воды кто черепок, кто осколок кремня со следами обделки рукой человека, кто каменное орудие *макролит*. На самом же Польце нашу первую разведочную работу сделали кроты-археологи. Мы ходили врассыпную, приглядываясь к тёмным



котовым кучкам, и в каждой непременно находили кто черепок, кто кремневый скребок, наконечник стрелы, долото, топорик.

Увидев такое обилие материалов, вырытых только кротами, археолог сказал:

— Довольно, надо закладывать *шурф*, такой стоянки я ещё не видел в России.

А много ли вообще-то в России открыто стоянок! Какая-нибудь сотня на всю огромную страну.

Шурф делает один человек сначала обыкновенной железной лопатой. Лёва копает с упорением и, кажется, приготовился прокопать землю насквозь, но скоро показывается материк и вода.

Археолог велит:

— Теперь срезайте шансовкой, совершенно так же, как если бы вы острым ножом резали сыр.

При такой работе ясно обнажается сверху тёмный слой, потом следует жёлтый, песчаный и опять тёмный, и за ним снова песчаный. Этот средний слой, тёмный, называется *погребённая почва*.

Лёва догадывается:

— Погребённая почва — это от более старого каменного века?

— Надо думать, — отвечает археолог.

Он удаляется к реке, находит тут заросшее тростником впадение другой реки, потом ходит по лесу, там всё осматривает, думает и, возвратившись к нам, говорит:

— Это место, быть может, в то время было берегом Плещеева озера.

с. 144

Робинзоны и следопыты впились глазами в своего большого следопыта.

Лёва спешит:

— А когда это было, сколько тысяч лет тому назад?

— Не люблю эти тысячи, — ответил старый следопыт, — было очень давно.

— Какая тогда была наша земля?

— До этого были озера, рек же не было. Потом случилось по каким-то причинам увлажнение, озера не выдержали напора воды и прорвались, побежали реки: так началась Волга: это доказано. Вероятно, и это озеро в то время стало переливаться в другое. На берега рек и озёр потом стали сходиться первобытные люди ловить рыбу, — это был каменный век постарше, потом берег озера стал берегом реки, и опять место было удобное для рыбаков, и если в новом верхнем слое черепки нам попадутся поновее, мы скажем, что и этот каменный век был поновее. Я, дети, не по тысячам считаю, а что постарей и поновей, и сами находки теперь уже мне дают мало интересного, главное — в каких слоях они распределяются. Ну же, Лёва, начинайте срезать на четыре штыка; из первого слоя кладите находки на эту сторону, из второго — сюда и так на четыре стороны, только подложите заранее для находок бумажки.

Сразу же стукнула шансовка, и осторожно, с благоговением, как драгоценную золотую находку скифских курганов, Лёва подаёт профессору небольшой черепок из необожжённой глины, совершенно рябой от больших, в горошину, углублений, сделанных на нём рукою первобытного человека.

И я не знаю, что предпочёл бы я увидеть: этот черепок или же золото скифов эллинской работы.

Осмотрев, любовно отрогав и даже как будто огладив, учёный с радостью говорит:

— Это старенький.

— А это?

— Это поновей. Видите, сетка — значит, новенький, но и это хорошо, новеньких у нас даже меньше.

Но скоро дети замечают, что хотя новое, может быть, и ценнее для науки, а старому следопыту старые как-то вкуснее, и потому стараются, как бы разыскать больше старого. И не в часы, а даже в какие-то минуты они уже осваиваются с археологическим языком: черепки называют *керамикой* и разбирают по культурам. Фатьяновская культура, Дьякова типа...

с. 145

— Значит, — спрашивают, — если название культур происходит от места находок, то возможна и Переславльская культура?

— Конечно, очень возможна, во всяком случае место это прославится.

В те же самые рогульки, в которые рыбаки клали жердь для подвешивания чайника, мы тоже положили свою жердь и подвесили свой чайник и потом пили, разглядывая на земле у костра то рыбью кость, оставленную современным рыбаком, то покрытый точечными углублениями черепок неолитического человека.

А учёный всё разбирает и разбирает собранные черепки по культурам, примеривает к работе разные кремни и макролиты, и до того у него всё выходит ловко, будто сам был тогда в каменном веке и работал кремниевыми орудиями.

— Вот как будто следы ногтя первобытного человека? — спрашивает один следопыт.

— Очень может быть, ведь все руками работали и больше, должно быть, женщины.

— Как же вы это знаете, что именно женщины?

— Догадываемся по этим украшениям: где украшения, там и женщина, а ещё некоторые узнают по отпечаткам эпителия пальцев...

— В таком случае на этом черепке, несомненно, следы ногтя.

— Почему же несомненно? Просто скажите: очень может быть.

— Но кто же они были, какой народ?

— Неизвестно, до сих пор мы не знаем не только лица человека, но даже имени народа, делавшего эти стоянки.

И тогда у костра учёный намёками стал говорить о своих догадках, и это была, конечно, мечта всей его жизни, — догадаться хоть немножечко о лице этого таинственного народа.

Все слушают, и только один поп Филя бродит по стоянке, потому что ему непременно нужно самому действовать и, может быть, самому открывать. Вот он, весь просияв, является с необычайной находкой.

с. 146 — Пожалуйте, — говорит отец Филимон, подавая какой-то небольшой круглый предмет, — носик от чайника, чай пили.

А в то время не только не пили чай, а едва только догадывались подхватывать огонь от зажжённого молнией дерева. И эти глиняные сосуды служили не для варки на огне, а только для хранения воды, пищи.

С уважением выслушал это отец Филимон, но всё его непокорное существо спрашивало: «А кто же это видел?»

Ему, я так понимаю, как чисто инстинктивному обывателю, непременно нужно видеть самое лицо человека, чтобы о нём говорить, и если видеть нельзя, то он не хочет думать по черепкам, складывая всё вместе плюс на плюс, как делают учёные. Он сразу догадывается о первобытном человеке, из себя самого...

Все смеялись над чайником, но мне казалось, что в принципе отец Филимон, быть может, отчасти и прав. Ведь и сам-то учёный, показывая детям способы пользования каменными орудиями, берет пример от современных ремесленников, плотников, каменщиков, кузнецов. Но если быть посмелее, уловить творческий огонь в лице современного человека и перенести это в лицо того, тоже гениального, существа, которому блеснула мысль о пользовании огнём, и так это сделать, чтобы это гениальное волосатое лицо предстало бы ещё в большем контрасте с нынешней потухнувшей в творчестве обезьяной...

Удивительны эти раскопки, хочется думать всё дальше и дальше, но дальше я замечаю, — туман поднимается на реке, и предлагаю поскорее ехать, чтобы сегодня же на озере Сёмине разведать другую стоянку, где, может быть, нам откроется и медный век.

## Первобытный человек

Почти против Польца на другом берегу Вёксы растёт большой хороший бор, и с береговых круч, иногда подымая верхний слой почвы, клонятся к воде огромные сосны и вот-вот упадут и раздавят плывущую лодочку. Речка и в боровых берегах бежит, перегибаясь почти параллельными излучинами. Так в прежнее время, бывало, едет торговый человек из Новгорода на своей лодке, кружится, минует опасные кручи, снова начинаются жидкие берега, так что выйти нельзя и деваться некуда — вот остров и на острове куст, а из куста выходит Тать... Этот страх перед кустом закрепился в названии всей этой местности — *Татин куст*. Мы благополучно миновали опасные нависшие сосны. Никто не вышел из куста. Показалось Усолье, значительное село, известное в истории Великороссии своими соляными

варницами. У берега реки остались в виде холмика Козья горка и теперь очевидные следы знаменитых варниц, снабжавших солью Великороссию.

В Усолье была первая мельничная плотина, возле которой пришлось разгружать лодки и перетаскивать их волоком. Во время этого хлопотливого и скучного занятия местные крестьяне, удивлённые нашими ружьями, сачками, попом и красным флагом, собрались и спрашивали нас, кто мы такие и что затеваем. Выслушав нас, один из них спросил:

— А какая в том польза?

Между тем в другой группе крестьян Сергей Сергеич спрашивал о вредителях полей, лесов, эпизоотиях, и его живая талантливая беседа заразила интересом всех до одного человека, так что когда подошёл кто-то новый и спросил об экспедиции, какая в ней польза, то сами же крестьяне насмешливо ответили:

— То полезно, что в карман полезло.

Повиляв по излучинам речки больше часу и всё не утратив из виду Усолья, мы, наконец, въехали в умирающее озеро Сёмино, длиной версты в полторы, водой мелкое, всего на лопату весла, и страшно глубокое тиной: веслом местами и не дощупаешься. Если же случится несчастье — лодка затонет, то плыть тут нельзя, затянет, — опасное место, утиный рай.

Совершенно так же, как на Вёксе, на первом сухом местечке, где отдыхают рыбаки, оказалась неолитическая стоянка, и здесь, в правом углу этого озера-болота, где сухое место возвышалось, как стол с пирогом, было *Торговище*. Сюда, конечно, плавал из Великого Новгорода и Садко, богатый гость, из бедного хлеба севера в житницу Суздальской земли, это *ополье*, и варил тут уху, как и мы, не обращая никакого внимания на вырытые кротами черепки каменного века; в то время и мысль не приходила в голову о древней керамике.

На стоянке наши робинзоны поставили две палатки, батюшка наладил костёр, повесил котёл для кулеша, и мы сели тут на брёвнышко под дым — от комаров. Пока ещё не совсем стемнело, фаунист всё переносил и переносил умерших в банке жучков на вату. Вдруг он сказал:

— Летучая мышь. У нас нет в музее, убейте!

И началась в полутьме трудная стрельба по летучим мышам.

На озере вспыхнул огонь, загорелось смольё, причалила лодка, и два рыбака с острогами подошли к нашему костру. Всякого рода лов рыбы и также лучение запрещены в этом месяце, но в глухом месте, конечно, не считаются с законом, и только что вот мы под красным флагом, — побаиваются начальства, и пришли для разведки.

Мы узнали от них, что в этом зарастающем озере *жёсткая* рыба — щука и окунь — не главная, а самая первая рыба *мягкая* — линь и карась. Кроме обычных способов ловли, здесь есть ещё совершенно особые, возможные только в тинистых зарастающих озёрах. Один из этих способов называется *на вар* и состоит в том, что в тину запускают весло, испуганная рыба выплывает из тины, и ход её на поверхности воды отмечается пузырьками, как бы кипящей воды (варом), а там, где пузырьки прекращаются, — поддевают сачком или бьют остройгой. Второй способ — *на пыльцу*, — то же самое, но вместо пузырьков догадываются о рыбе по пыли или мути, и, наконец, третий способ — *на шар*, значит просто *шарят*.

Один из рыбаков, Павел по имени, рассказывает об этом кратко, дельно, выразительно. Так, у другого бы очень длинная фраза, у него же построена так:

— Я ткнул веслом, шурёнок *дал вар*.

Я воспользовался этим ясным рассказом, чтобы поучить молодых краеведов, как нужно пользоваться такими рассказами, чтобы выработать себе краеведческий язык.

Молодые рыбаки были несколько похожи друг на друга, как братья, но у Павла глаза были большие, серые, с какой-то мучительной думой, у Николая — узенькие щёлки. Павел почти не улыбался, Николай подхихикивал. Павел всё пробовал рукой поймать живьём летучую мышь. Николай вздрагивал каждый раз при её приближении.

Павел, оказалось, уже читал книгу Михаила Ивановича о Переславльском уезде и ещё много другого. Он рассказал нам, что недалеко отсюда, в Бармазове на Стуловой горе, есть целый ряд памятников, похожих на каменные курганы, а около деревни Хмельники — какое-то древнее кладбище и тут же два кургана, один из них раскопал Николай, и оказалось, это действительно курган. Николай не думал о скелете, он искал *тайные деньги* и,

когда увидел в кургане круглое, бросился туда, схватил кубышку, повернул и обмер: клад обернулся мёртвой головой. Николай бросил череп и бежать. Павел, узнав это, закопал скелет, кто-то поставил крестик. С этого времени прошёл уже год, а Николай всё ещё боится ходить этим местом.

Не обращая никакого внимания на сидящего рядом Николая, Павел отчётливо сказал в заключение:

— Мы живём в лесу, народ наш суеверный и глупый, как первобытный человек.

При этих словах мне вдруг вспомнились мои догадки на Польце о первобытном человеке, и я спросил:

— Почему вы думаете, Павел, что первобытный человек был непременно суеверен и глуп; те люди были, наверно, тоже, как и мы, очень разные, вы сами приходите почти из первобытной деревни, а не имеете же предрассудков, и суеверие Николая вам кажется глупостью?

— Я как-то вышел отдельным человеком, — ответил Павел, — я стал много читать в школе.

Сведения о погребальных памятниках нельзя было оставить без внимания, и мы тут же сговорились идти своей археологической группой завтра на исследование. Павел предложил себя как рабочего на раскопки, а за ним и Николай. Мы его предупредили, что не деньги будем искать, а скелеты, но он стоял на своём: и он будет копать вместе с Павлом. Потом, уже в совершенной тьме, мы разместились в двух палатках: в малой старшие краеведы с частью следопытов, в большой все робинзоны с попом. Только у одного Сергея Сергеича был войлочный конверт, в который он залез с головой, мы же улеглись на тонком брезенте, прикрываясь куртками и ещё кой-чем; все как-то ещё не обзавелись. Жутковато было спать на сырой земле, и ужасной казалась возможность ветра и дождя.

Сергей Сергеич сказал из мешка:

— Сегодня барометр упал на шесть делений.

А поп сказал о ноге:

— Сильно мозжит.

Едва ли мне удалось соснуть часа два, да и в этом полусне мои полумысли и почувства занимал неотступно человек из каменного века. Но явился он мне совсем не таким, как учили нас в школе, не обезьяноподобным существом, а составил из отношений этих двух рыбаков — Павла и Николая. Мне представилось, что в процессе творчества Николай был существом отработанным и брошенным доживать бытие, неизменным, как он есть, а Павел идёт вперёд, что Павел в своём малом кругу тоже как бы добывает огонь, подобно своему гениальному предку, словом, что один — человек, а другой — обезьяна, но черепа и черепки совершенно одинаковы, и если пройдёт время, то и не узнаешь, кто из них двигал жизнь и кто в ней только жевал пищу. И только затем, казалось мне, нужно собирать черепа и черепки, чтобы приблизить мысль свою к существу первобытного человека. Но чтобы вполне понять его, нужно, изучая остатки первобытной культуры, в то же самое время зорко всматриваться в современного человека, своим творчеством устремлённого в будущее; и очень возможно тогда, что из всех членов нашей экспедиции этот профессор окажется ближе всех к существу первобытного человека.

Череп является как бы комнатой нашего мозга, и мы, привыкая умственно работать в комнате, создаём ещё больший череп для всей головы, а когда ночуешь в лесу, то вдруг оказывается, что мысль работает как-то бесконечно широко, но безответственно, как ветер, дождь... Вот является сырой холодный гость, начинает шуметь, — и в мыслях сразу всё переменяется.

Я выглянул в щёлку палатки. Всё небо было затянуто, шёл мелкий холодный дождь, и только по свежей зелени деревьев можно было догадаться, что теперь весна, а не осень. Я уже хотел было закрыть глаза и погрузиться в свои полумысли о неолитическом человеке, как вдруг открылся брезент другой палатки и показалась голова с длинными спутанными волосами, с бородой неопределённого цвета, сбитой войлоком, а в складках старого изветренного лица были живые лесные глаза. По моим соображениям, этот вернувшийся в природу поп не должен был начать день свой молитвой, иначе незачем бы было ему уходить. И это оказалось верным: не обращая никакого внимания на дождик, он вылезает на четвереньках из палатки в жилетке и сапогах, потом вытаскивает своё серое поповское

полукафтаны, надевает, становится настоящим попом, склоняется к большой головешке вчерашнего костра и начинает долго её раздувать. Он действует так ловко, упрямо, изобретательно, прикрывает огонёк от дождя сначала ладонью, потом сковородкой, прилаживает как-то сковородку над огнём, чистит картошку, жарит и, пока жарится картошка, чистит плотву, вероятно, добытую вчера у рыбаков. Съедает одну сковородку, съедает другую, потом свёртывает себе большую сигарку махорки, закуривает и ложится животом на землю, не обращая никакого внимания, что земля совершенно сырая, что сверху сеет дождь. Глядя на озеро, он курит и наслаждается, курит и счастлив: сыт и совершенно свободен, распределяясь бессмысленно чувствами своими во всей вселенной.

с. 151

Высунув голову из палатки, я тихонько, чтобы не нарушить его великолепного покоя, позвал:

— Ба-тюш-ка!

Он даже и головы не повернул.

— Ну, што?

— Батюшка, — говорю, — я видел, вы так трудились устроить сковородку на костре, почему вы не сварили уху в котелке, так много проще.

Он ответил охотно:

— В ухе плотва — рыба очень тоскливая.

— Костлявая?

— Тоскливая. Плотву можно только жарить, а если уху поешь, то всё как-то думается, не случилось ли дома что, или в будущем... Тоскливая рыба.

— Но, может быть, это не от рыбы тоска?

— А отчего же?

— Мало ли отчего, духовная неудовлетворённость, неудачи...

— А какие же теперь у меня могут быть неудачи: вожу дрова, рыбаков, рублю, пилю, никакой неудачи я теперь не имею: мне хорошо. А спросите рыбаков: и каждый вам скажет то же; из плотвы нельзя варить уху, плотва — рыба тоскливая.

В это время наши старшие краеведы тяжело пробуждались, узнавая по шуму и сырости дождь, но, услышав разговор о тоскливой рыбе, расхохотались, и беседа наша с отцом Филимоном окончилась.

## Происхождение человека

Стулова гора, куда привели нас Павел и Николай, тонула в Бармазовских лесах, тут невдалеке была *деланая* дорога из брёвен, в сущности мост по жидкому болоту в три версты длиной, начало пути в Половецкую волость. Поправее от деланой дороги копалась в земле, то исчезая, то показываясь, маленькая речка *Черторой*, направо, в синюющих лесах, текла река *Лада*, и та вся местность, самая глухая, лесная, называлась *Заладьве*. Бармазово было одним из населёнейших цветущих уголков этого края, но во времена Грозного от голода и разорения население частью повымерло, частью разбежалось, и с тех пор тут лес. Одну деревянную церковь, рассказывают старики, лес вовсе затёр, а колокола *утонули*, и кто праведный — слышит иногда звон потонувшего колокола.

с. 152

Каменные курганы на Стуловой горе имели продолговатую форму и по виду, без всякого сомнения, были погребальные памятники, но когда археолог проверил направление по компасу, то оказалось, что могилы расположены не с востока на запад, а с севера на юг. И всё-таки дело рук человеческих было так очевидно, что мы решили копать.

На этом памятнике мы учимся правильным раскопкам, и потому сразу же распределяются роли: Михаил Иванович — исследователь, он обмеряет курган рулеткой, делает план, наблюдает за появлением линии, разделяющей насыпь от грунта, которая называется у археологов *лентой*, потом находит *обрез* могилы и вообще ведает всей научной стороной дела. Академик берет на себя скромную роль производителя технических работ, становится на курган и велит рабочим вести траншею поперёк направления могилы.

Один за одним снимают большие камни, и все думают, что вот после такого-то трудного камня начнётся самая насыпь; и правда, бывает, показывается песок, но сейчас же лопата

снова звенит о камень, и опять все рабочие трудятся над его выкапыванием. А сверху непрерывно сеет дождь, все мокрые, грязные.

— Таких трудных курганов у меня ещё не было, — говорит производитель работ.

— А что курган, это уж несомненно? — спрашивает Лёва.

— Несомненно, это дело рук человеческих.

И снова рабочие выкатывают камень за камнем. Николай вспомнил, что у него в сенном сарае дырка. Надо скорей идти заделать, а то дождь погубит всё его сено. Павел ещё держится. Лёва верит профессору, что костяк непременно найдётся.

с. 153

— А что, если это ледниковый нанос?

— Едва ли, но надо подумать.

Учёный уходит от нас к другим таким же памятникам и там один соображает, измеряет, рассчитывает. Мы выкатили последний камень, пересекли насыпь, далеко врезались в материк, ленты нет, ничего нет, еловая шишечка попалась величиной с мизинец — и то уж как её рассматривали! Михаил Иванович стоит весь мокрый, грустный. Я пожалел его и спросил, что он думает делать сегодня с Соней. Сразу он оживился и ответил:

— Сонюшка поехала сдавать экзамен в Вхутемас.

Лёва сердито говорит, что раз Александр Андреевич сказал, что это курган, то костяк непременно найдётся.

— Нет, Лёва, — отвечает ему, появляясь из-за деревьев, археолог, — это не погребальный памятник.

— Значит, мы напрасно копали?

— Нет, не напрасно, мы установили, что это не курган.

— А что же это такое?

— Трудно сказать, что такое, для этого нужно особое исследование, и это надо сделать потом: это — дело рук человеческих.

Так движется наука, где отрицательные результаты тоже необходимы и ценны. Но нам было так, будто мы ехали на Северный полюс, рассчитывая там встретить диво, а там совершенно ничего не было, кроме умственного: показаний секстанта, барометра, термометра...

Тайна Бармазовских лесов осталась нераскрытой, и, пожевав чёрного хлеба с земляникой, мы стали спускаться в Хмельники, где недалеко от реки Чертороя были курганы и древнее кладбище. По пути, около Желтухинского болота, в глухом чёрном лесу Павел показал нам землянки, где жили дезертиры; заметно было по древесным остаткам, что они тут проводили время, занимаясь какими-то работами по дереву; после дезертиров землянками пользовались самогонщики, — на берегу ручья остались копки для их котлов.

Картина древнего кладбища нас оживила: это был типичный новгородский *жальник*, и нахождение его здесь, далеко от Новгорода, но вблизи Торговища, на пути новгородцев за хлебом в *Ополье* много говорило историку местного края. Вблизи этого жальника зиял своим провалом раскопанный суевенным Николаем курган, рядом высился другой, нераскопанный, через верхушки деревьев внизу виднелась вода Сёмина озера.

с. 154

Теперь всё оказалось в полном порядке, курган был типичный и возле него ямка, след выбранной для насыпи земли. Определено направление погребения по компасу с востока на запад, взята траншея поперёк — с юга: с юга всегда легче заметить ленту. Но только принялись копать, опять показывается огромный камень, потом другой, третий, и дождь, всё дождь без конца...

Следопыты раскапывали жальник, курган — Лёва и Павел. И уже начинало смеркаться, а ленты всё не было. Нет и нет, — новый огромный камень отрывает руки от работы. Павел уходит к себе в деревню по неотложному делу. Лёва копает один; знаю его, — теперь он себя загипнотизировал, и хотя уж давно работает сверх сил, но лопату не бросит: костяк непременно найдётся. Вдруг огромный камень обрывается сбоку траншеи, контузит ему правую руку, и последний рабочий выходит из строя. Опять учёный, как и при раскопке первого памятника, удаляется, обходит местность и там думает. Мы, голодные, грязные, совершенно усталые, перестали верить даже, что это — курган. Михаил Иванович, бледный, сидит на пне у сосны.

— О чём вы думаете, Михаил Иванович?

— Я думаю, — отвечает он, — выдержит ли Сонюшка экзамен в Вхутемас?

И мы вместе с ним потихоньку думаем, как бы нам оттянуть неугомимого профессора от кургана, поскорей бы попасть в избу к Павлу, поесть бы, чаю попить и потом бы на сеновал. Есть ли у него сеновал?

В это время приходит археолог и говорит:

— Прыщ!

Значит, курган издали выглядит, как прыщ на земле, и если уж так, то непременно это должен быть курган, погребальный памятник.

Заметно смеркается. Ссылаясь на мрак, мы просим на сегодня кончить работу.

— Хорошо, — говорит учёный, — мы скоро пойдём, только, Лёва, дайте мне лопату, я сам попробую.

И погружается в траншею. Седая голова то покажется, то спрячется: копает. Слышится какой-то особенный звук лопаты, голова надолго исчезает в траншее.

— Лёва, идите сюда, возьмите лопату и слегка стукните здесь. Слышите? Такой звук может быть только о кость.

— Кость!

Мы вскочили. Как на охоте, вдруг откуда-то при удаче является новый неведомый источник сил, но это было больше охоты: это был момент торжества того последнего усилия учёного сверх охоты в жертву истине, которое отличает натуру учёного от других людей и что именно первобытного учёного, добывшего огонь, выделило из мира обезьян. В этот момент в лице этого современного учёного увидел настоящее лицо нашего отца, гениального первобытного человека с волосатым телом, железной волей, огнём в глазах и, наверно, где-то глубоко скрытым нежным, любящим сердцем...

Кость ноги, лежавшая поперёк траншеи, была большая, чёрная. Мы затрусили её землёй, и все счастливые, весёлые бодро пошли ужинать в дом Павла. В научной работе для счастья, оказывается, совершенно не нужно великолепия, иногда бывает совершенно достаточно косточки.

Слух о находке быстро обежал деревню, и когда мы пили чай за столом у Павла, на лавках сидели разные деревенские люди. Они слушали, мы говорили.

В этот вечер мы говорили за чаем, как разговаривают между собой образованные люди, совершенно не замечая, какая масса знаний и опыта предшествующих поколений проходит в их простом разговоре. Между тем, тут в избе слушали всё это дети земли...

Мы разговаривали о севере и юге, бросались тысячелетиями, как днями, иногда и на самую землю смотрели как на игрушку, иногда, напротив, безделица, отрытая в кургане, надолго занимала нас. Наш археолог рассказал нам, что однажды во время раскопок где-то на юге студент с верным глазом разглядел запрятавшуюся в костях крошечную истёртую монетку, единственную находку, кроме костей, что эта, с виду ничтожная, монетка перебивала у многих учёных для определения, с риском погубить совершенно монетку и, значит, утратить единственное и драгоценное свидетельство времени; она была, наконец, опущена в едкий натр, и тогда ясно обнаружился десятый век.

— Десятый, — сказал кто-то с лавки, — а у меня есть монета много старше: семьсот двадцать первый год.

— Какая же она? — удивлённо спросил археолог.

— Большая, медная, в пятак.

Смеясь, сказал археолог:

— Если бы такая нашлась монета, то за неё можно бы дать миллион,

После того мы поднялись и пошли ночевать в сенной сарай. Все скоро улеглись: я, курящий, сидел на бревне перед сараем и говорил с Павлом. Мне хотелось узнать у него, что останется у крестьян от нашего большого интересного разговора в избе.

— Вот облачко тает, — сказал Павел, — и у них так же расходится мысль и так всё им было, как сказка. Но вон, посмотрите, сосед мажет дёгтем телегу, вы его узнаете?

— Это — который сказал о монете.

— У него есть монета, я её знаю: 1721 год. И он знает, что тысяча, а не семьсот, но теперь услышал от профессора, что за семьсот можно получить миллион, сбился и думает: «А может быть, и семьсот, может быть, и получу за неё миллион?» В деревне ему нельзя показать профессору, — вдруг все узнают, что он богат: это надо сделать тайно. Вот он

с. 155

с. 156

и мажет телегу: за этим и поедет завтра в город. И это я уж знаю верно-преверно — день небазарный, ему больше незачем ехать в город, да и мужик такой...

Когда я вошёл в сарай, Лёва уже спал и, переутомлённый, бормотал во сне — и всё одно и то же слово: «норман», «норман».

Он мешал спать археологу, я разбудил его и попросил перелечь поближе ко мне.

Археолог спросил:

— Лёва, почему вы во сне всё повторяли: «норман», «норман»?

— Ах, Александр Андреевич, у меня есть догадка, да я не решаюсь вас об этом спросить. Вы сказали, что нога нашего открытого человека очень большая и что это, наверно, мужчина. Вот я хочу вас спросить, что и для мужчины — эта нога большая?

— Да, я думаю, что и для мужчины.

— Так не норман ли это? Вот о чём я догадываюсь. Как вы думаете, не норман?

— Нет, Лёва, если бы это был норман, то мы нашли бы только урну с пеплом: у норманов было сожжение трупов.

После того Лёва заснул и больше не бормотал.

Мысль о первобытном человеке больше мне не мешала спать: черты лица его мне теперь были знакомы. И все мы спали отлично и проснулись с радостным ожиданием продолжения раскопки кургана и потом — дальнейшего путешествия.

с. 157

К нашему счастью, взошло, наконец, прекрасное солнце, и при этом свете мы сразу заметили исчезнувшую вчера *ленту*, след созревшего под насыпью кургана дёрна. Отчётливо показался *обрез* могилы. С востока на запад по компасу через место находки кости мы провели прямую линию и по ней сверху уверенно стали вести *приёмную* траншею, через которую потом вынем костяк. Опять копают Лёва и Павел, а мы все сверху, лёжа на кургане, напряжённо смотрим, и каждый раз, когда кто-нибудь локтем обсыплет землю внутрь траншеи, Лёва, окончательно завладевший раскопкой, бранится. Николай тоже смотрит рядом с нами в могилу, он часто обсыпает землю, что-то его изнутри подъярыживает, хотя виду он не показывает...

Вот уже и близко скелет, даже копать лопатой опасно. Павел выходит, ложится рядом с нами, профессор спускается вниз, учит Леву, как надо выбирать землю руками, передаёт ему всё это дело и присоединяется к нам. Он сказал подпослед:

— Первое покажется череп.

И Николай вслед за этим обсыпал в траншею много земли.

Каждый комочек Лёва разминает руками, каждый малейший камешек показывает профессору, при каждом упоре пальца в землю говорит:

— Вот, кажется, и голова.

И в этот момент Николай непременно сыплет локтем землю в траншею.

— Ты, Николай, должно быть, боишься, — говорит ему Лёва, — лучше уж уйди.

И вдруг окончательно и уж, наверно, правильно вскрикнул:

— Голова, голова!

Профессор спустился, потрогал место и сказал:

— Да, это голова.

Николай побледнел и впился глазами в то место.

Павел тихо сказал:

— Вот по таким-то раскопкам, должно быть, узнают потом происхождение человека.

Никто ему на это ничего не сказал: все с напряжением ожидали увидеть, какой покажется голова человека, пролежавшая в земле, быть может, лет восемьсот. И она показалась гораздо значительнее, чем я представлял, главное, цвет её был не обыкновенный костяной, а как бы красноватый, почти как красная медь или обожжённая глина, так что, не видя лицевой части, можно всякому принять за кубышку с кладом. Но Лёва осторожно очистил её от земли, и вот показался лоб мертвеца и зубы, главное, что зубы-то были совершенно белые...

с. 158

Когда при нашем общем молчании и напряжённом внимании показались зубы, вдруг Николай загоготал, поднимая слог «гэ» всё выше и выше, как сирена, или скорей, жеребец: гэ-гэ-гэ-гэ-э-э-э... На очень высоком «э» жеребячий звук вдруг оборвался, и всё получилось так:

— Гэ-гэ-гж-э-э... твою мать.



Это был звук человека, оставленного творческим духом, как оставлена им пребывающая вечно сама в себе обезьяна, и звук был всем нам и знаком, и страшен, и противен, и в конце концов смешон; изумлённые, мы подняли головы и расхохотались.

Один только Павел не стал смеяться, ему это было слишком близко, чтобы смеяться. Своими большими серыми, с мучительной думой, глазами он строго посмотрел на ржущего человека и приказал, как обезьяне:

— Замолчи, дурак, по таким раскопкам узнаётся происхождение человека!

Было много странностей в способе погребения этого большого человека с необычайно крепкими свежими зубами, и расположение костей, особенно в шейных позвонках, было неправильное. Но профессор нам ничего об этом не сказал и только, уже когда мы с ним были опять на озере, высказал свои предположения: «Скорее всего, это был повешенный».

## Весна человека

### Появление ручейников

Две реки, впадающие одна в Оку, другая в Волгу, протекают одна в плодородном *Ополе* — среди *поля*, другая в болотистом Залесье — у *древлян* и почему-то носит одно и то же название *Нерль*. Большая Нерль, по которой мы из Сёмина-озера продолжаем свой путь, и другая, Малая Нерль. Между реками был где-то переволок, та и другая река были одним и тем же путём из Залесья в Ополе, и вот почему, может быть, эти совершенно разные реки называются одним именем.

с. 159 Мы плывём по Большой Нерли среди однообразных болот и по таким излучинам, что церковь села Копнино полдня к нам приближается и полдня удаляется. Где-то на берегу молодой пастух учился играть на трубе, и эти звуки нам тоже были слышны, нарастая и ослабевая, тоже почти весь день.

И aneroid Сергея Сергеича и нога отца Филимона согласно предсказывают ненастье, дождь поливает нас целый день. Но я не знаю, бывает ли такое время хоть один день без красоты. Под вечер показалось, в разлуке ставшее особенно прекрасным, солнце, из воды высунулись огромные камни, на высоком берегу стал бор, и отец Филимон попросился у своего сурового начальника хотя бы на пять минут выйти на берег. Мы все догадываемся, зачем просится поп Филя на высокий берег: наши промеры реки, испытание скорости течения, вычисление высот по aneroidу, изучение промыслов, цифры населённости, отбираемые нами у председателей сельсоветов, количество земли и лугов, зарисовка покрытий лесных строений, наличников, резьбы, коньков и петушков, — вся эта необходимая краеведческая работа только после когда-то даст черты этой реки, но отцу Филе кажется, что если он залезет наверх и выглянет, то сразу же и откроет новую страну.

Место, где вылез отец, было действительно прекрасное: высокие берега с высоким бором, так что глянешь наверх — и шапка валится с головы, река покрыта белыми лилиями и кувшинками, через зелёные ворота виднеется такая большая заводь, что не знаешь, куда же ехать: заводь значительно шире реки и тянет ехать туда, но вот там, на реке, стоят два зелёных сторожа, две тоненькие тростинки, вечно дрожат и кланяются от шевелящего их внизу течения, значит, это — река и ехать надо туда.

Трудности путешествия всегда искупаются минутами такого душевного равновесия, когда какое-нибудь ничтожное явление вдруг открывает все великолепия мира. В ожидании возвращения батюшки мы все стали дивиться красоте балета бесчисленных ручейников над водой в косых лучах вечернего солнца. Жизнь этих белых существ, имеющих вид бабочек, была всего один только день: но как же они великолепно проводили этот единственный определённый им день! И этот день я узнал в себе, как родной: был тоже один такой единственный день и у меня.

с. 160 Вдруг сверху, с дороги, из бора к нам долетела песенка, такая же коротенькая, как жизнь подёнки, другая, третья в несколько девичьих голосов. Песенки сыпались, и, казалось нам, под них именно и танцевали над водой подёнки. Наши робинзоны достали мандолину и балалайку — приготовились. Медленно выезжает навстречу нашей армаде из бора телега, наполненная деревенскими девушками. Увидев молодых людей, девушки запели на горе:

Мои глазки, как салазки,  
По горе катаются,

Моими карими глазами  
Многи увлекаются,

Выждав, когда девушки на горе поравняются с лодками внизу, робинзоны ударили по струнам и спели в ответ с воды свою импровизацию:

Я на лодочке катался,  
А под лодочкой вода.  
Моя милка в белом платье,  
А под платьем... сковрода.

Хохот и визг раздались в бору над рекой, и тут показался из леса сияющий отец Филимон с пучком поспевающей земляники.

— Ну, отец, что ты видел наверху новенького, что у тебя в руке?

— Климат тут много теплее, — сказал отец Филимон. — В Переславле земляника только цветёт, а тут поспевает.

## Крапивное заговенье

Явление нашей армады в пустынных водах было таким дивом, что одна деревня почти в полном составе проводила нас берегом до другой, в этой присоединилось ещё множество и в третьей вся эта масса встретила нас на берегу. После долгого разглядывания в упор отгеснили меня и стали расспрашивать; больше всего, оказалось, их интересовал наш поп.

— Это настоящий священник?

Я сказал, что, конечно, настоящий.

Переглянулись.

— Значит, поп?

— Конечно.

Всё это было до крайности удивительно людям, живущим очень далеко от железной дороги. Вокруг наших палаток народ кипел всю ночь, любопытные приоткрывали нашу палатку, не давали нам спать.

В этом месте на другой день наша этнографическая группа отправилась исследовать в деревню Лихорево праздник «крапивное заговенье», по-видимому, остатки культа древнего бога Ярилы.

Я не очень верил, что мы увидим какое-нибудь действие и что всё не кончится записью старинного обряда со слов какой-нибудь лихоревской старухи. Но, конечно, мы в Лихореве всё-таки не сразу стали расспрашивать о боге Яриле: мы пришли исследовать гончарные промыслы. Только уж когда сердца этих скудельников были нами совершенно открыты, мы, наконец, заговорили о празднике наибольшего развития весенних производительных сил и об языческом боге. Тогда из толпы этих *скудельников* вышел один пожилой, уже за шестьдесят лет, улыбнувшись, как улыбается фавн, обнажил крепкие зубы и сказал:

— Воистину, это, стало быть, я сам и есть.

Тогда гончары бросили рассказывать о своих промыслах, и началось веселье вокруг этого жреца бога Ярилы. Все повторяли:

— Власич вам всё покажет.

И сам Власич сказал:

— Пойду попытаю.

Скоро мы услышали пение и поспешили на улицу, где теперь бабы и девки *чистили поле*.

Это известно — бабы, наступая против девиц, поют:

А мы сечу чистили, чистили!

Потом девицы наступают, и так две эти партии, медленно двигаясь по улице, разыгрывают земледельческую драму, как она выходит из слов известной стариннейшей песни: «А мы просо сеяли, сеяли».

Одни сеют, другие коней пускают и топчут, коней ловят хозяева ляды и назначают за них выкуп: девицу. Молодец вступается за девицу, и в ход пускаются ножи...

Всё, в общем, представляется, как подготовка к действию, расчистка поля, на котором вот скоро уж теперь и начнётся самый посев.

Власич довольно перешептался с бабами-заправилами, согласился и стоит теперь в ожидании, когда расчистят сечу для посева.

с. 162

Кто-то в толпе говорит о Власиче:

— Это у нас *посевком*.

И сам Власич, услышав это, объясняет нам, что бабы давно уже его выбрали и он теперь один сеятель, больше уже никто сеять не может. Время от времени он исчезает куда-то и возвращается всё веселее и веселее. В последний раз он приходит с огромной жердью, раз в десять больше себя, и к верхнему концу её прикрепляет пучок крапивы.

Жердь подымается.

Ярило дубовый  
На палке высокой  
У дерева стал.<sup>1</sup>

Вокруг сеятеля образуется огромный круг зрителей, внутри же в три группы садятся дети, каждая группа на равном друг от друга расстоянии, треугольником.

К дедушке-сеятелю подходит бабушка, второе действующее лицо, всем известная здесь забавница Марфа Баранова. Дедушка и бабушка хозяйствуют в кругу, перемешают ребят, чтобы удобнее было между ними ходить, дают советы руководительницам сложного хождения всей массы баб и девушек в кругу. Наконец, всё готово, в круг вступают первые звенья бесконечной цепочки разодетых по-праздничному женщин. Идут с песнями змейкой между тремя группами детей. Остальные свиваются спиральными кольцами. Каждая в конце концов пройдёт следом другой, но для зрителя скоро скрываются дети, между которыми ходят женщины, линия их хождения исчезает, и кажется даже, они вовсе не ходят, а всё волнуется правильно, как спелая нива ржи, и всё тянет к высокому шесту с крапивным пучком и к стоящим под ним дедушке и бабушке.

Хор поёт:

На горе-те мак, под горою мак,  
Мак-маковицы, красные девицы.  
Станьте в ряд!

И спрашивают:

Поспел ли горох,  
Поспел ли бобун,  
Поспел ли цветун?

с. 163

Хор умолкает, ожидая ответа дедушки и бабушки.

Нет, оказывается, горох не только не поспел, а даже земля не вспахана и нет коня: нужно ещё вырастить жеребёночка, да и того ещё нет: надо послать за кобылиными яйцами.

Все посмеялись и пошли кружить с пением:

На горе-те мак...

Так проходит время, и на вопрос хора, «поспел ли бобун», дедушка отвечает, что жеребёнок-то вырос, да вот беда, сошник сломался, надо заказать кузнецу наварить *шестьвершковый конец*.

Проходит ещё сколько-то времени, а тут новая неуправка: захворал дедушка, некому пахать и сеять.

Итак, дедушке всё неможется, и долго растёт горох, а девушкам всё нетерпится, все они кружат и спрашивают:

<sup>1</sup>Сергей Городецкий — «Ярило».

Поспел ли горох?

Весело становится, когда дедушка начинает поправляться и пошучивать с бабушкой, да и как ещё пошучивать! Сильно растёт и горох.

— Ну и хорош же будет бобун! — кричит сеятель.

Вот он уже в ленточках, — вот показался спелый стручок в *шесть вершков*.

Тогда вся масса женщин наступает и в последний раз спрашивает:

Поспел ли горох,  
Поспел ли бобун,  
Поспел ли цветун?

С громким криком: «Поспел!» — дедушка выпускает жердь с крапивным пучком, женщины расступаются, пучок с шумом падает на землю, дедушка валится на бабушку, молодые люди гоняются за женщинами с крапивой, стегают их по ногам.

Зрители, развеселённые и довольные, повторяют:

— Поспел, поспел.

## Бабы богомерзкие

Когда представление кончилось, мы пошли в дом к Власичу и позвали сюда Марфу Баранову. Тут мы записали обряд со всеми подробностями и множеством таких прибауток и слов, какие не оставляли ни малейшего сомнения, что мы имели дело именно с Ярилой, богом весны человека. Правда, это были довольно жалкие остатки древнего культа, но и то их было довольно, чтобы воскресить утраченное огромным большинством людей чувство благоговения к силе, воспроизводящей на земле человека. Мы даже поняли, каким образом достигалось это: потому что всё грубо называлось почти своими именами, но грубость эта была необходима, как грубость земли, производящей тончайшие кружева трав и цветов...

Мы были довольны и счастливы даже этими жалкими остатками весны человека, потому что мы были учёные люди: учёные всегда довольствуются только остатками...

С обратной поездкой вышло, как в крапивном действии: жеребёночек был в поле, и надо было за ним сходить, поймать, привести. Нас ненадолго оставили сидеть в избе одних с Власичем и Марфой Барановой; мало-помалу стали собираться разные любопытные, и вдруг те женщины, которым мы дали немного денег после «крапивного действия», ворвались к нам в избу, как ураган, и все вместе кричали, как стая огромнейших птиц. Стало даже немного жутко от этой вакханалии, казалось, что вот кинутся все и разорвут в клочки. В особенности орала баба, как бы вырубленная из камня и покрашенная, рядом с ней была жёлтая, и совсем красная, и хорошенькая чернушка, схваченная порывом урагана. У всех до одной были открытые рты и зубы сверкали. С трудом дознались мы, что все они кричали порозному одни и те же слова: «шестьдесят копеек», и когда мы, наконец, догадавшись, в чём дело, всыпали одной бабе в руку эти шестьдесят копеек, то все они бросились вон из дома и вихрем понеслись куда-то по улице, некоторые сильно спотыкаясь.

— Вдовы и бездетные, — сказал нам Власич.

— Вдовы, — сказал я, — это понятно, но у бездетных есть мужья.

— Да разве можно угнаться мужу за бездетной женой, бездетная — женщина вольная.

Несомненно, перед нами прошли те упрямые язычницы, которых отцы нашего христианства называли *бабами богомерзкими*.

Но не в них было дело, такие бабы есть всюду, а в отношении к ним солидных крестьян, бывших вместе с нами в избе Власича. Один из них даже прямо сказал:

— Мы считаем, что от этих женщин нам большая польза: нужно же, чтобы кто-нибудь давал нам в жизни веселье.

## Зацветание ржи

Наступил глубокий красивый вечер. Ржаные поля зацветали. Всюду веяло могучей любовью, исходящей от роста живых существ, рождённых землёю. Мы ехали с Власичем на

с. 164

с. 165

телеге, и он рассказывал нам о себе, что вот какое ему вышло горе с первой женой: ребёночек был разрезан в утробе и после того с ней нельзя было жить супружески, и так он мучился с ней всю жизнь, правда, не говел, но детей всё-таки не было, а без детей крестьянину какая жизнь. Ну, вот и умерла та жена, женился на молоденькой, пошли дети все маленькие, ему же теперь уже за шестьдесят, силы начали убывать, а ведь работать-то на семью приходится больше и больше, и, верно, ему уж так и не увидеть в своей семье помощников.

В это время мы проезжали селом, и на пути нашем встретилась необыкновенно длинная и высокая антенна. Власич этим очень заинтересовался, и пришлось ему рассказать о радио.

— А слышали вы, — спросил он, — про обезьяньи семена? Будто вот спрыснут, и сразу помолодеешь лет на пять...

— Что ты говоришь, — сказал мой спутник, — не на пять, а лет на двадцать пять.

— Нет, нет, — сказал Власич, — мне бы только лет на пять надо, ребятишки бы подросли, а больше не надо, зачем...

И стал вполне серьёзно упрашивать, как бы так раздобыть этих семян.

Между тем село это, где мы увидели антенну, было бесконечным каким-то; мы ехали — и конца ему не было, селу не хватило горы, спустилось в болото и оттуда опять полезло в гору новыми постройками, — видно, что народ в этой глуши множится с великой силой.

Тут открылось нам в оранжевом свете последней зари слияние рек Нерли и Кубри, и за мостом, такое, как Андрианово, напирющее жизнью Григорово, и тут уже была масса народу и на берегу и на улицах, и всё это жило, звучало частыми песенками, похожими на подёнок. А по реке на своей большой лодке ехал поп Филя, и на лодке у него сидело человек сорок, голова к голове, ребятишек, так что похоже всё было на Мазая с зайцами: поп катал детей. Робинзоны катали девиц, и их было на лодке тоже часто и густо, как у Мазая, и тут уже пели все безотрывно под мандолину и балалайку. Увидав нас, весь народ повалил вслед за телегой, и так мы прибыли к своим палаткам на берегу Кубри. Так за один только день нашего отсутствия экспедиция совершенно вышла из своей научной колеи, и когда явился подвыпивший поп Филя, вообще трусивший своего учёного хозяина, то получил от него такое наставление:

— Ты, отец, не очень-то уж увлекайся краеведением.

Лето





# Лето

## Первая стойка

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем. с. 167

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувyrкается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повёртывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич, — сказал я, — кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберётся с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевёл глаза. Ему, наверное, очень хотелось бежать и проверить, отчего это мёртвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в тёмный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве удрать.

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?»<sup>1</sup> с. 168

Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мёртвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаился враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживёт и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому пёсику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали, — нет, не вылезет кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве ещё раз брехнуть!

Брехнул и отпрыгнул.

<sup>1</sup>Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мёртвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала всё, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь всё благополучно.

После того Ромул успокоился и завилал прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теребить её за ухо.

## Школа в кустах

с. 169

Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охотника не далее ружейного выстрела, на пятьдесят шагов, а в лесу ещё ближе, и, главное, всегда бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это всё вместе — ходить правильными кругами в поле и не терять хозяина в лесу — называется правильным поиском.

Я пошёл на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустарник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому она называется *отводом*. Конечно, тут всё поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему понадобится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубает что покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает и всё вырубят дочиста, на такой полосе остаётся только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на голову, остриженную слепым парикмахером.

Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже, чем богатое дичью. На пустом месте собака учится одному делу: правильно бегать, ни на минуту не забывая хозяина.

Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, что я отстегнул, стоял возле меня, как привязанный.

Махнув рукой вперёд, я сказал:

— Ищи!

Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду, испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня, — казалось, он фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал.

В кустах — не в поле, где всегда видно собаку. В лесу надо учить, чтобы собака, исчезнув с левой руки, сделала невидимый круг, и показалась на правой руке, вертелась волчком.

с. 170

И я должен знать, что если собака не вернулась с правой руки, значит где-нибудь она вблизи почуяла дичь и стала по ней. Особенно хорошо бывает следить за собакой, когда идёшь просекой, собака то и дело пересекает тропу.

Вот мой Ромка исчез в кустах и не вернулся. Я очень рад, его чувство свободы оказалось на первых порах сильнее привязанности к хозяину. Пусть будет так, я его понимаю: я охотник и тоже это люблю. Я только научу его пользоваться свободой согласно со мной, так и мне и ему будет лучше. Большими скачками, чтобы не оставлять за собой частых следов, по которым легко было бы ему меня разыскать, я перебегаю через кусты на другую полянку. Там на середине стоит большой куст можжевельника. Я разбежался, сделал огромный скачок в середину куста и затаился.

По мокрой земле не был слышен топот собачьих лап, но зато издали донёсся до меня треск кустов и частое ха-ха-нье. Я понимаю хорошо это ха-ха-нье, он хватился меня, бросился со всех ног искать и сразу от сильного волнения задышался. Однако он довольно верно рассчитал место моего нахождения: проносится по первой поляне, откуда я начал скакать.

Когда всё снова затихло, я даю сигнал своим резким свистком. Очень похоже на игру в жмурки.

Мой свист достиг его слуха, вероятно, как раз в то время, когда он в недоумении стоял где-нибудь на полянке и прислушивался. Он верно определил исходную точку звука, пустился во весь дух с паровозным ха-ха-ньем и стал в начале полянки с кустом можжевельника.

Я замер в кусту.

От быстрого бега и ужасного волнения у него висел язык на боку челюсти. В таком состоянии, конечно, он ничего чутя не мог, и расчёт его был только на слух: уши переполовинил, одна половина стоит, другая, обламываясь, свисает и всё-таки закрывает ушное отверстие. Пробует склонить голову на сторону, — не слышно, на другую — тоже не слышно. И, наконец, понял, в чём дело: он не слышит потому, что заглушает хозяйский звук своим дыханием, исходящим из открытого рта. Закрывает рот, второпях одну губу прихватил и так слушает с подобранной губой.

Чтобы не расхохотаться при виде такой смешной рожи с поджатой губой, я зажимаю себе рот рукой. Но ему не слышно. Природа без хозяина ему кажется теперь как пустыня, где бродят одни только волки, его предки. Они ему не простят за измену волчьему делу, за любовь к человеку, за его тёплый угол, за его хлеб-соль. Они его разорвут на клочки и съедят. С волками жить, надо по-волчьи выть.

И он пробует. Он высоко поднимает голову вверх и воет.

Этого звука я у него никогда ещё не слышал. Он действительно почуял волчью пустыню без человека. Совершенно так же воют молодые волки в лесу, когда мать ушла за добычей и долго не возвращается...

Да оно так и бывает. Волчья матка схватила овцу и несёт её к детям. Но охотник проследил её путь и притаился в засаде. Волчица убита. Человек приходит к волчатам, берет их к себе и кормит. Неизмеримы запасы нежности в природе, свои чувства к матери волчата переносят на человека, лизут ему руки, прыгают на грудь. Молодые не знают, что этот человек застрелил их настоящую мать. Но дикие волки всё знают, они смертельные враги человеку и этой изменнице волчьему делу, собаке.

Ромка так жалобно воет, что у меня сжимается сердце. Но жалеть мне нельзя: я учитель. Я не дышу.

Он повёртывается задом ко мне и слушает в другой стороне. Может быть, где-нибудь в поднебесье свистнул пролетающий кулик?

Не туда ли забрался хозяин и не он ли зовёт к себе на небеса?

А вот это наверно в ближайшем болотце корова спугнула чибиса, и он, взлетая, высвистывал своё обыкновенное: «Чьи вы?» Это уж и не так высоко и не так далеко, очень возможно, это свистнул хозяин.

Ромка со всего маху ринулся на это «Чьи вы?», а я вслед ему резко в свисток:

— Вот я!

Он вернулся.

В какие-нибудь пятнадцать минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым, без человека, поселил в нём ужас к жизни его предков, диких волков. И когда наконец-то я нарочно шевельнулся в кусту, и он услышал это, и я закурил трубку, а он почуял запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз. Я встал. Он лёг виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.

## Ярик

Однажды я лишился своей легавой собаки и охотился *по бродкам*, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.

В то время вёрст тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелём той же породы, та и другая собаки были из

с. 171

с. 172

одного бывшего помещичьего имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньше, чем настоящая охота с ружьём. Помню, раз было... На вырубке вокруг старых чёрных пней было множество высоких, ёлочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было Иван-да-Марьи, цветов наполовину синих, наполовину жёлтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с жёлтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье, — каких, каких цветов не было, но от красных ёлочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле чёрных пней ещё можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под ёлкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести *грудок*, как у нас называют костёр, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось всё-таки под ёлкой просидеть ещё с полчаса и дожждаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчёту это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:

— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.

с. 173

Ярику теперь пошло третье лето. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью, и если всё будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьём на громадное расстояние.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».

Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?», но никто из нас не спросит: «Как вы чувствуете, как у вас дела с носом?» Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведёт, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»

— Ну, ищи, гражданин! — повторяю я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьёзно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повёл меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И всё стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.

с. 174

Осталось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетерева пахнул ему на всём ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во всё удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шёпотом сказал:

— Иди, если можно!

Он распрямылся, попробовал шагнуть вперёд, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зелёному бродку на седой от капель дождя траве повёл, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперёд, я это понял по Ярику, он мне по своему доложил:

— Идут впереди нас и очень близко.

Они вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю *мёртвую* стойку. До сих пор ему ещё можно было время от времени раскрывать рот и хахатъ, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вернуться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаясь, и видно было, как темно-коричневая, словно клеённая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошёл, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку; как изваянный стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошёл куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землёй тихонько полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:

— Летите, летите все в разные стороны, — сама вдруг взмыла над лесом и была такова.

Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:

— Дурак, дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и, виноватый, медленно стал подходить.

Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лёг.

— Ну, иди же, иди!

Ползёт виноватый, кладёт мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, смирно сиди, не хакай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох, — отвечает она, и это значит: — Иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду, — всем отвечает она.

Один цыплёнок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу; у меня возле самой коленки шевелится трава.

- с. 176 Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыплёнка.
- Ну, понюхай, — тихонько говорю Ярику.
- Он отвёртывает нос: боится хамкнуть.
- Нет, брат, нет, — жалким голосом прошу я, — понюхай-ка!
- Нюхает, а сам, как паровоз.
- Самое сильное наказание.
- Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберёт, одного не хватит — и прибежит за последним.
- Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:
- Где ты, мама?
- Иди к нам, — отвечает она.
- Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.
- Идёт, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется её шея, а за ней везде шевелит траву и весь её выводок.
- Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами:
- Ну, не будь дураком!
- И пускаю своего тетеревёнка.
- Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеёмся:
- Вот как мы вас одурачили, граждане!

## Верный

- Мне удалось Ярика очень хорошо натаскать на болоте, но, страстный любитель лесной охоты, я не удержался от искушения: когда пришла пора, я стал охотиться с ним в лесу на тетеревов. В этом была моя ошибка: надо было потерпеть до другого поля. Однако в первые дни Ярик работал в лесу прекрасно, как и на болоте, только приходилось почаще свистеть. Но как-то под вечер, когда я возвращался с охоты, на дорогу выбежала тетеревиная матка очень позднего выводка и стала своими обычными приёмами дразнить Ярика. Он бросился, по пути попал на тетеревят, ошалел и долго за ними носился. Сгоряча я так его вздул, что он вдруг вскочил и бежать от меня, я за ним, он дальше, дальше и пропал на всю ночь, а утром мы увидели его рыжие уши в картофельной борозде.
- с. 177 Кому приходилось натаскивать собак, тот поймёт всю силу моего отчаяния: теперь исправить собаку можно было только с большим трудом, а об охоте в этом году и думать нечего. Выход был один — найти себе для охоты другую собаку, а Ярика учить снова, чтобы этот случай у него постепенно забылся.
- Я стал себе приискивать собаку какую-нибудь, хотя бы даже вроде покойницы Флейты, лишь бы мало-мальски из-под неё можно было стрелять.
- И так, расспрашивая всех о собаке, я рассылал своих ребятишек узнавать, проверять слухи. Однажды они рассказали мне, что будто бы, когда они проходили мимо одного хутора с большой пасекой и сели тут отдохнуть, из дома вышел старик с колуном и принялся за дрова. Наколов порядочно дров, этот старичок свистнул, прибежала собака чёрная с рыжими подпалинами, лохматая и, видно, очень породистая. Подбежав к старику, собака схватила полено в зубы и понесла в дом, потом вернулась, взяла другое и так, пока старичок отдышал, перетаскала всю поленницу. Потом старик закрыл дом, отворил сарай, стал опять колоть, а собака носила поленья в сарай. И так дети, поспешая домой, ушли, не досмотрев работы, только по количеству наколотых дров можно было понять, что старик этим занимался изо дня в день, заготавливая дрова на зиму, может быть и для продажи, а собака ему помогала.
- Верно ли, что собака чёрная с рыжими подпалинами и шерсть очень густая? — спросил я.
- Ну, как же, — ответили дети, — а лоб у него покругче нашего Ярика и переносица как бы с выломом и такой лохматый, что, в общем, похож на первобытного человека.

На другой день я пошёл искать своё счастье на хутор.

Я застал точно такую картину, как рассказывали дети: старик колот дрова, а прекрасный гордон относил их в сарай. Один раз собака устала, не донесла полена до сарая, бросила и вернулась. Старик взял прут. Гордон, увидев прут, подбежал к старику, лёг на бок у самых ног. Старик ударил сильно раз, два и бросил прут. Гордон вскочил, схватил этот прут, весело поскакал с ним возле хозяина, бросился к уроненному полену, донёс его до сарая и бодро стал продолжать работу.

с. 178

Редкостная голова была у гордона, пышность убранства её можно было только сравнить с париками Людовика XIV, только зад был как бы деревянный, то ли от перенесённых побоев, то ли от чумы. После стороной я узнал, сколько побоев вынес гордон на лесной службе у крестьянина: очень возможно, что пострадал от побоев.

— Что же вы, — говорю крестьянину, — охотничью собаку и заставляете нести такую службу?

— Какую там охотничью, — пробормотал старик, — вот никак не могу научить складывать, накидать-то накидает, а нет того, чтобы сложить.

Наш разговор услышал сын старика, вышел познакомиться. Поставил самовар. Сели за чай. Я рассказывал им о беде с Яриком и что я не прочь бы купить Верного, если бы у него оказалось хоть мало-мальски чутье. Мне же они рассказывали, что собаку в голодное время купили больше из жалости к Бендрышеву, и тот собаку хвалил. Я хорошо знал Бендрышева, это был у нас первый охотник, стрелок и дрессировщик. У меня мелькнула надежда, что, может быть, эти мужички просто не понимают, как надо обращаться с охотничьей собакой, и зря мучат её на дровяной работе и что её надо купить сразу на счастье, пока простецы не расчухали. Я приценился, спросили двадцать рублей, совсем пустяки. Но у крестьян никак нельзя показывать виду, что дешёво, я стал торговаться. Пил чай с мёдом, очень потел и торговался, хотя готов был и не двадцать, а даже тридцать и больше отдать. Хозяева тоже усердно пили чай, потели и торговались, и, такие чудачки, хвалили не собаку, а Бендрышева, повторяя, что Бендрышев охоту знает, как поп Егор «Отче наш». В конце концов я выторговал себе целых пятнадцать фунтов мёду и с собакой и с мёдом, получив ещё сверх всего свисток, побежал скорее домой.

Я двое суток ласкал Верного и не водил на охоту, и он так скоро привязался ко мне, что, если только я переходил в другую комнату, принимался выть и скулить. Это было добрейшее, переполненное сиротскими чувствами существо. На третий день я совершенно уверился, что Верный никуда от меня не уйдёт, взял с собой ребят и пошёл на охоту.

Для болота мне хорош был Ярик. Верного мы повели на верёвочке в лес. Там на поляне, вблизи которой можно было ожидать тетеревиных выводков, я отпустил Верного. Он сначала ринулся в кусты, но, словно что-то забыв, вернулся и стал против нас на поляне, смотрел долго и, лохматый, то покосит голову на один бок, то на другой, и так всё было похоже, будто он нас фотографирует. Сделав это, очевидно ему очень нужное, он исчез, показался, опять исчез, и всё пошло как с отлично дрессированной собакой коротким лесным поиском. Очень скоро там, где большая посеча переходит в болото, разделённая с ним густой зарослью, Верный прихватил и очень осторожно повёл. В нём не было той страсти, как у Ярика, и того огненного глаза, отчего сам в себе вдруг узнаешь какую-то внутреннюю собаку и совершенно забываешься, как человек. Верный вёл крайне осторожно, как бы не для себя это делал, а только для нас. Слишком долго он вёл, очевидно птицы удирали, и это, наконец, он понял, остановился, посмотрел туда-сюда, не торопясь сделал круг и так отрезал отступление птиц у самой крепости в отдельно стоящем кусту. После того он стал хозяйственно, без всякого волнения: пришёл. Мы расставились в линию, я посередине, ребята по бокам. И так мы стояли, пока я, наконец, решился сказать: — Вперёд... — Верный сделал шаг, другой, и один вылетел, — выстрел, другой, — ещё выстрел. Мы их стреляли над крепью все трое, и они падали в топь, заросшую тростниками в рост человека и выше. Отстояв выстрелы, Верный спросился глазами и сам пошёл в топь выносить одного, другого, третьего...

с. 179

Дичи было много в этом краю. В несколько дней мы настреляли почти что на стоимость новой собаки, и вот как бывает, забудешься в своём счастье: я написал бывшим хозяевам Верного, что очень доволен и не знаю, как их благодарить и соглашаюсь вполне, что Бендрышев действительно знает охоту, как поп Егор «Отче наш». После я узнал стороной, что

вот как я огорчил их этим письмом, они думали, что собака никуда не годится и Бендрышев их обманул.

В первые же дни появления Верного на моём дворе характер Ярика очень переменялся. По гордости своей он решил не показывать виду, что ему неприятно общество Верного. Даже когда я беру ружьё и Верный скачет вокруг меня, Ярик лежит жерновком и вида не показывает, что ему хочется на охоту. А между тем сам очень страдает, и стоит только мне позвать его, как бросается со всех ног и оттирает Верного. Раньше он был большой неряха, и когда ему дашь кость, то хорошенько её выгрызет а что потвёрже, похуже, бросит. Теперь из опасения, что остаток достанется Верному, лежит возле пищи и, если Верный близко подходит, рычит. Позовёшь к себе, идёт с костью в зубах, нужно выйти до ветру — всё с костью идёт и делает. С тревогой наблюдал я, как изо дня в день Ярик искал повода сцепиться с Верным, и я очень боялся этого, потому что по старому опыту знал характер таких сиротливых и добрых собак, как Верный: терпит, терпит, зато уж как возьмётся, так доведёт войну до конца.

Однажды у нас на дворе полоскали бельё и оставили корыто с подсинькой. Ярик глодал кость возле самого корыта, и когда оказалось, что одну пластинку ему не разгрызть, подсунул её под корыто, чтобы Верный не заметил. В это время я кликнул Верного на охоту. Ярика это, конечно, больно уколело, но вида он не подал и затаил злобу на Верного. И уж само собой, такой умница и хитрец, Ярик отлично знал, что, когда зовут на охоту, тут не до кости. Между тем Верный побежал именно по тому самому месту, где была запрятана кость, и Ярику был отличный повод, не обнаруживая ревности, броситься на Верного будто бы из-за кости. Он сделал это с такой силой и ловкостью, что Верный, вообще плохо владеющий своим деревянным задом, грохнулся спиной в корыто с подсинькой, ногами вверх, будто опрокинулась деревянная лошадка. Я понял так Верного, что ему, претерпевшему испытание дровами и страшные побои поленьями, вовсе не так уж зазорно было полежать секунду в подсиньке вверх ногами или показаться хозяину мокрым, и боли он тоже не чувствовал, но ведь он же совсем не был виноват, он не за костью бежал: из-за чего же этот рыжий барин бросился, и не пора ли, наконец, с этим покончить и раз навсегда. И вот он, выскочив из корыта, во много раз сильнее, бросился на Ярика.

Обыкновенно, когда силы очень неравны, слабейший при бурном натиске ложится на землю и перевёртывается ногами вверх, сильнее, тогда насаждает, но не грызёт, а только рычит и, подержав порядочное время побеждённого в таком положении, отпускает и где-нибудь поблизости у столбика или у дерева оставляет заметку, вернее всего с какими-нибудь условиями сожительства на будущее время. Побеждённый, понюхав заметку, оставляет на том же месте свою: вероятно просто расписывается. Редко я наблюдал, чтобы слабейший в своей расписке делал какие-нибудь оговорки, но когда это всё-таки бывает, то сильнее, делает новую заметку, и слабейший потом расписывается окончательно.

Но можно ли себе представить, чтобы такой гордец, Ярик, вдруг взял бы и перевернулся вверх брюхом, — конечно, он бросился в бой и первое время грызся с большим успехом.

Не помня себя от страха за Ярика, я бросился сначала к корыту и вылил всю синюю жидкость на сцепленные разъярённые морды, — ничего это не помогло. Тогда я схватил Верного за хвост и, дав ногой Ярику в грудь, отволол чёрного, но тем сильнее рванулся рыжий и вцепился в него. Я схватил за хвост Ярика, оттащил его, ещё хуже. Верный впился в Ярика, и ещё бы немного ближе к горлу, и Ярику был бы конец. Но как раз в эту роковую минуту прибежали мои ребята и растащили противников за хвосты.

Верный по своему характеру не помнил зла, но Ярик пошёл теперь в открытую вражду, и на дворе нашем жизнь стала совсем невозможная. Пришлось собак разделить, но ведь как усмотришь: стало на душе беспокойно.

Однажды в сентябре, когда можно было быть совершенно уверенным, что в лесу не найдёшь тетеревиной матки с молоденькими, я попробовал поохотиться в лесу с Яриком, и мне это удалось хорошо. Ярик работал прекрасно. Обрадованный успехом моего приёма исправить собаку спокойной работой из-под другой собаки, а, может быть, просто потому, что было жарко и я устал, только, придя домой, я забыл про Верного и оставил Ярика на том же дворе.

Во время обеда вдруг мы услышали ужасное рычание под окном и, глянув туда, увидели, как оба врага медленно подступают с поднятой шерстью.



Тут малейшее движение с нашей стороны, крик, и оба непременно бросятся в бой: мы сидим, затаив дыхание, в надежде, что как-нибудь обойдётся, рассчитываем, что Ярик сегодня удовлетворён охотой, а Верный вообще добрейший пёс. с. 182

С грозно поднятой шерстью Ярик подошёл к Верному вплотную: тот не рычал, но мрачно ждал, что будет дальше. Ярик делает вокруг Верного медленный обход, подходит к стене и оставляет на ней свою первую заметку, вероятно, условие договора. В это время крайне осторожно подходит к Ярику Верный и, пока тот пишет заявление, обнюхивает у него основание хвоста. Потом, прочитав написанное на стене, Верный делает какие-то свои поправки, а Ярик нюхает основание хвоста Верного, Ярик согласен, расписывается, после чего Верный, сделав полукруг, в последний раз окончательно подписывает бумагу, что, в сущности, у них, вероятно, означает ратификацию мирного договора.

С тех пор у нас мир на дворе и на охоте строгое разделение обязанностей. Верный больше по лесу и в лесу по крепким местам с колокольчиком на тетеревах, белых куропаток и на осенних жирных вальдшнепов, Ярик по болоту на бекасов, дупелей, в поле на серых куропаток; в лесу же я спокоен с ним только на видных местах, в редких кустарниках, на опушках и полянках.

## Кэт

Кэт — собака от премированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода её современная легавая *континенталь*. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное всё — по белому как бы кофейные зёрна рассыпаны.

Это я переименовал её в Кэт, а у хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожёны. Первые два года у них не было детей, и Китти заменяла им ребёночка. Все два года она лежала у них на диване в Москве. Ещё бы немного, и охотничья собака прекрасной породы превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу второго года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на пятый этаж, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастье с Верным — его искусила бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о легавой, я, всё-таки недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне её продали и, всплакнув, просили никогда не бить. с. 183

Я слышал от опытных дрессировщиков, что двухлетний возраст для натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами: на ходу очень любила скушать и высоко подбросить венчик ромашки. Свойство её породы — исключительная вежливость и понятливость, и хорошо было, что она самка: сучка всегда умней. Всё, что называется *комнатной дрессировкой*, я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белого хлеба, и, когда собака сунулась было к нему, я с громким криком «тубо» угостил её щелчком.

— Это тебе, — говорю, — не в Москве на диване лежать.

В четверть часа я не только научил её не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу.

Потом я выучил её *вперёд и назад*, действуя исключительно только повышением голоса: *ищи, сюда, тише, к ноге*. На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи: я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил её короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу далось: я ходил, как яхта против ветра, галсами, движением руки или лёгким посвистыванием заставлял её делать то же самое. Дня три я так ходил, и, наконец, всё необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано.

Я повёл Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля ещё не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис плохой материал для натаски: я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать

выстрелами, зато уж молодой лежит рыжей лепёшкой до того крепко, что очень легко ногой наступить.

Кэт поначалу не чуяла этих лепёшек, я нашёл сам, скovyрнул, лепёшка сделалась чибисом, и он, не умея ещё летать, заковылял между кочками. Сказав *умри*, я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залёг между кочками лепёшкой — Тихо, вперёд!

И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала, и тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис, сам же заметил и пустил искать против ветра галсами.

Ветру она не взяла, но нижним чутьём прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал то же сто раз и ничего не добился; причуять по воздуху и остановиться собака не могла, Я ушёл с болота в раздумье: очень может быть, что собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье возродится.

Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня восемь вёрст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато у себя, возле озера, в болотных зарослях, я нашёл болотину десятины в две, и Кэт скovyрнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я стал ежедневно натаскивать собаку. Всё-таки и эта прогулка отнимала утром часа два, и притом каждый раз необходимо было переодеться, потому что пролезать на болотинку надо было по очень топким местам. И досадно же было возвращаться всегда с одним и тем же результатом: Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы.

Однажды я взял с собой на болото ружьё и убил одного бекаса. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса: крутилась до тех пор, пока уставилась в него носом в упор. Всё-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение.

Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты, в собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне вспомнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов: одни писали, что самец-бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая — самка, и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добывает и торчит в одной точке. Раздвигаю болотную траву и нахожу на кочке четыре бекасиных яйца, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса.

Хорошо, как хорошо. Я теперь буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на верёвочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать...

Как интересно было на другой день прийти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов, самое большое, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверно на полтора шагов, делает стойку, ведёт, ближе, ближе, да как ведёт-то: тяп, тяп своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, что нужно на ногу целый дом тряпья наверхнуть. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит:

— Тише, тише, хозяин!

Шагов за пять она остановилась окончательно, я оглаживал её, поощрял двинуться ещё хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно: как только я хляпнул своим сапогом, бекасиха вылетела.

Кэт взволновалась, казалось, говорила:

— Ах, ах, что такое случилось?

Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо.

Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда, их было много, и один непременно нашёлся бы такой, который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасиха испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле скошенного кустика опять на пять шагов, и опять бекасиха вылетела.

с. 186

Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах натаскивали своих собак художник Борис Иванович<sup>1</sup> и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича ирландская сука. Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом завёл их в болотце и показал...

Словом, я затрубил в трубу, счастье моё было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику:

— Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для натаски взяли пойнтера, видите, мой в три недели готов.

Доктору я говорил:

— Вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера, поработаете, но зато потом уж собаку получите незаменимую.

Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своём месте я стал знаменитостью.

Нет, молодые собачники, охотники, молодожёны, поэты, не верьте никогда внезапному счастью, знайте, напротив, что иллюзия эта на самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на нём, а перескочить. Неделю, не больше, я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой Кэт...

Болотце, когда сено убрали и прошло с неделю времени, ещё лучше зазеленело, чем было, и раз, когда я пришёл на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно, казалось, вот-вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила Кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у неё прямо из-под ноги совсем ещё молоденький бекасёнок. Собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвёртый, пятый... Она всё вела и вела. И так же, как раньше, стала мертво в пяти шагах от гнезда, а когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки.

Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки.

На другой день собака вела по кочке.

Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костёр.

Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведёт по кострищу.

Значит, всё время с самого начала она работала только по памяти.

Значит, всё было только *представление*.

Значит, собака не чувствует самую жизнь, а только её представляет. Это не собака — друг и помощник охотника, не производительница живых чутьистых щенков, — это собака-актриса.

Многие охотники в таких случаях выстрелом кончают с такой собакой. Я же решил попробовать уговорить её прежних хозяев взять её обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников.

В день разрешения охоты я позабылся с ребятами стрельбою уток: это не моя охота. Через неделю ходил по тетеревиным выводкам — люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревов, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам воображаешь, как бы так зайти, чтобы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за десять летних считается.

Рябина всё краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели. Табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели сверху донизу липы, а в болотах осины и берёзы. Было уже два

с. 187

<sup>1</sup>Борис Иванович Покровский, преподаватель рисования в школе II ступени (ныне школа №1). — *Ред.*

лёгких морозца. Почернела ботва картофеля, и начался разрыв души у охотника: в лесу — интересные чёрные тетерева, в болоте — жирные бекасы, в поле — серые куропатки.

Стараюсь всё захватить, но сказали:

— Вчера Борис Иванович убил пролётного дупеля.

Тогда тетерева, куропатки — всё брошено, и я за восемь вёрст в Ляховом болоте стерегу валовой пролёт, и если сегодня два убито, а завтра три, говорю: *подсыпают*.

Вот однажды в самый разгар дуплиных высыпок мои ужасные сапоги наконец-то растёрли так мою ногу, что идти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры и дорого и, главное, мне стыдно: такой уж я уродился, не могу *ехать на охоту*.

Денёк задумался. В больших берёзах золотые гнезда. Такая грустная, такая жалкая подходит ко мне Кэт. Как она похудела!

с. 188 Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье, и потому, что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу, не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое?

Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела всё в одну точку. Потом она постояла и начала всё это пространство между мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду.

Стала она, как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха.

И вдруг! Знаете, с каким треском вылетает огромный, штук в тридцать, табунок серых куропаток? Я выстрелил и раз и два. Обе куропатки упали недалеко.

И она это *видела*.

Тогда-то, наконец, мне всё стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окружённом кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что от неё требуют, и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у неё сразу пробудилось забитое городом уменье пользоваться чутьём.

Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем и забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить! Прямо, как есть, я спешу, почти что бегу в Ляхово болото за восемь вёрст.

Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом к темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожинкой. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля. Но она разыскала и перемещённого бекаса. Я убил и бекаса. А потом всё пошло и пошло.

Ляхово болото тянется на пять вёрст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится. Темнеет. Я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс.

с. 189 Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге: жнивье впилось в мои раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня утонули в болоте.

После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт когда-то давала своё, чуть не погубившее её жизнь, представление. И вот какая у них, оказывается, память: ведь опять подобралась и повела было по пустому месту. Но запах настоящего живого бекаса перебил у неё актёрскую страсть, и, бросив фигурничать, она повела в сторону по живому. Я не успел убить его на взлёте, стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка, я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я, наконец, решил послать собаку принести, и скоро она явилась из заросли с бекасом во рту.

## Любовь Ярика

Иногда я, отправляясь в лес с собакой, зарекаюсь не говорить с ней человеческими словами и объясняться только глазами, движением руки да в крайнем случае нечленораздельными звуками. Это не очень легко, но зато объяснение с животным в молчании заставляет напрягать внимание, и начинаешь понимать его душу, как бы из себя самого. Так, мне кажется, я понял любовь Ярика и Кэт в их молчании больше, чем если бы они разговаривали, а я бы подслушивал.

Они встретились неважно. Он её немного понюхал, ей не понравилось, он отошёл и залёг в углу. С этого часа у него переменялся характер: рыжий красавец с шестинедельного возраста привык получать от нас неразделённые ласки. Я не очеловечиваю животных, не идеализирую, у меня есть доказательства, что у охотничьих собак высшей породы связь с человеком в охоте сильнее голода: как бы ни был голоден Ярик, он бросает еду, если только завидит меня с ружьём. Нашу связь в охоте не может нарушить даже любовь в момент её самого сильного животного напряжения. Было это вскоре после того, как мне доставили Кэт, у неё началась *пустовка*, и поэтому пришлось Ярика отправить в сарай к гончому Соловью. Не обращая внимания на болезнь Кэт, я продолжал её натаскивать в лесу и болоте, потому что я жил вдали от деревни и мало было опасности встречи с другими собаками. Однажды, раздумывая о силе охотничьего инстинкта у собак, я решился на рискованный опыт и захватил с собой вместе с Кэт и Ярика. Это было опасно не только потому, что немецкая легавая могла в кустах повязаться с ирландским сеттером и дать ненужное мне потомство ублюдков, но главное, что Кэт уже второе поле проводила без натаски, и, если пропустить ещё одно, то собака уже наверное останется неучёной. И всё-таки в задоре своих психологических раскопок в собачьей душе, я решился на опыт и пустил Ярика и Кэт сначала в поле, а потом в кустарники. В этот день я пережил несколько минут большого волнения, когда обе собаки, исчезнув в кустах, не вернулись. Я бросился вслед за ними, но не нашёл их в том направлении, обежал весь предполагаемый круг, — их не было, свистел, — не приходили. Тогда, потеряв равновесие, я носился по кустам без всякого расчёта, проклиная свою рискованную затею. К счастью, пёстрая, кофейно-белая рубашка немецкой легавой мелькнула, наконец, перед моими бегающими в волнении глазами, и по ней уже я открыл и Ярика. С безумно устремлёнными на невидимых в траве птиц глазами, Ярик стоял, как бронзовый, а за ним, ещё ничего не понимая в охоте, в полном недоумении стояла Кэт и роняла на траву и лесные цветы алые густые капельки крови. А ведь у них было довольно времени, чтобы подготовить мне встречу совершенно другую. Значит, моя правда: охотничьи собаки потому и охотничьи, что искусство, от которого они ничего себе не получают, им дороже самой могучей, приводящей весь мир в движение страсти.

с. 190

После этого опыта я возвращался домой счастливый, и он даёт мне смелость признаться: я тоже раз в жизни упустил свою Кэт, устремлённый страстью своей к какой-то невидимой цели. Теперь я счастлив узнать, что так бывает не только у людей, но и у животных высшей породы.

Мне пришлось потом ещё несколько дней продержать Ярика вместе с гончим в сарае, но я часто заходил к нему и ласкал, называя совсем другим, человеческим, именем, и Кэт ласкал, называя просто Катюшей. Это моё собственное изобретение — двойные собачьи имена: одно на работе, другое дома, одно для безусловного повиновения, другое, позволяющее иногда быть собаке деспотом своего господина. Да, попробуйте-ка удержаться в роли строгого дрессировщика, когда Ярик сфинксом, сложив крестиком передние лапы, разляжется на окне, и в солнечных лучах его красная шерсть светится непередаваемыми нынешними художниками какими-то тициановскими тонами. В эту минуту я говорю ему почему-то:

с. 191

— Кирюша, дорогой мой!

Он и не тронется, напротив, отлично понимая, что я наслаждаюсь его красотой, ещё крепче застывает в своей гордой позе.

А если я скажу даже совсем тихо:

— Ярик! — он делает что-то с ушами, умиляется, разрушает великолепные крестики своих лап и, постукивая, начинает своим волосатым хвостом подметать пол.

После опыта в лесу во время пустовки Кэт у нас с Яриком было большое человеческое объяснение в сарае, но я заметил по его гордой манере как бы некоторый налёт отчуждён-

ности. И потом, когда пустовка окончилась и я ввёл его опять в дом, он стал держаться иначе. Вот наливается в собачью чашку суп. Этот знакомый звук привлекает Кэт, и она стоит в ожидании, мелькая своим обрубок. Раньше, бывало, и Ярик спешил, а теперь он лежит в углу, не обращая на звук никакого внимания: он очень горд и не хочет соваться. В этом он доходит до того, что неохотно и подымается, когда его прямо зовёшь обедать. И когда мы обедаем, бывало, прежде Ярик дежурил в ожидании лакомого кусочка, теперь он лежит под столом, а Кэт дежурит и так напряжённо следит за всем, что даже противно, возьмёшь и прогонишь. Но Ярик и в отсутствии Кэт никогда уж не займёт прежнего своего положения возле стола. И мы понимаем дома все, что Ярик не прежний Ярик, что он никогда не простит нам появления Кэт.

с. 192

Когда наступило время охоты, у меня явилась заминка в отношении Кэт, я не понял её способностей и охотился с Яриком. Снова Ярик занял прежнее положение, являлся первый по звуку наливаемой пищи, сидел у стола во время обеда, а Кэт сзади его мотала обрубок и так неприятно-умно глядела, что часто получала от нас: «На место!» К концу охоты вдруг Кэт на охоте взяла такое первенство, что с Яриком ходить мне стало неинтересно. Меня очаровала спокойная, умная работа немецкой легавой. Я решил перейти вообще на легавых и непременно получить от Кэт щенков. В этой местности для моей Кэт подходящим супругом мог быть только Джек, принадлежащий одному художнику. Во время дупелиного пролёта мы решили познакомить собак, попробовать, как они будут ходить. И всё вышло прекрасно. Мы часто забывая готовить ружья для выстрела, любовались, как расходились умные собаки для поиска, сходились, опять расходились и останавливались на следах, потом подводили, стояли неподвижно и оглядывались на нас, торопя, когда, любуясь, мы не спешили. После охоты мы варили себе на берегу болота чай и беседовали о будущем потомстве немецких легавых континенталь. Собаки, утомлённые, свернулись калачиками. Они могли спокойно спать и не волноваться, как люди, вопросами о бытии божием: мы были их боги, и судьба их была в наших руках.

Раз мы с ребятами в доме остались одни, и, когда Кэт начала свою игру с Яриком, мы разрешили собакам бегать вокруг стола, валять стулья, вскакивать на диван, не пожалели скатерть, съёрзнутую со стола вместе с чашками, не удержали собак даже, когда они, разгорячённые, принялись лакать воду из чистого ведра. Безумие собак и нас увлекло, и мы решили досмотреть игру до конца. Первое время Ярик, когда страсть его переходила законные границы, бросался на пол и ложился вверх брюхом. Кэт ложится на него и до того его наломает, натормошит, что он, совсем обессиленный, лежит, свесив язык, и хахает. Но вот ловкая, тонкая, как змея, неистощимая в придумках Кэт выводит его совсем из себя, он вдруг вскакивает, бросается к ней, крепко охватывает её шею лапами, а сам перемещается. На мгновение она задумывается и вдруг, оскалив зубы, с рычанием кидается на него и больно кусает. Опустив хвост, Ярик, весь какой-то жалкий, помятый, ложится на свой матрасик и с тёмными пятнами вокруг своих человеческих глаз долго, не отрываясь, глядит на ножку стула.

с. 193

На следующий день он ей не отвечает на ласки, она пристаёт, он глухо рычит, она не обращает внимания на рык, — прыгает через него, хватая за уши, за хвост, тербит его лапами так, что летит рыжая шерсть. У Ярика есть такой затаённый приём ловить кусочек, когда мы, балуясь, подвешиваем его на нитку и делаем в воздухе недалеко от его пасти разные фигуры: он как будто не обращает внимания, а сам долго вымеряет, рассчитывает и, внезапно бросаясь, всегда безошибочно ловит. Так и в игре с Кэт он вдруг бросился, всё рассчитав верно и упустив только одно, что никогда он не может получить, если время ещё не пришло. Он получил хороший укус. И какое унижение для такой гордой собаки: лезет, несмотря на острые зубы, ещё получает и опять лезет. Но, конечно, она заставила его вернуться в свой угол, и тут он опомнился и увидел наверно сам себя простым кобелём, жалким, искусанным, обиженным. До вечера он зализывает свои раны, а ночью ходит из угла в угол. Просыпаясь, я думаю, что ему надо выйти, выпускаю, он возвращается и опять начинает ходить. Сквозь тонкий сон я до утра слышу, как по сухому гулкому полу стучат его коготки.

Утром я замечаю у Кэт известные признаки, записываю число и увожу Ярика в сарай к гончей. Потом всё совершается точно по рациональному руководству ухода за породистыми собаками. На одиннадцатый день явился ко мне Борис Иванович с Джеком, и мы

повязали его с Кэт. Эта любовь, как мы заметили по часам, продолжалась пятнадцать минут.

Зима держалась утренними и вечерними морозами. Ночью всё подваливал снег, — но с нашей горы ветер сдувал снежную пыль, и на солнце гора наша сверкала ослепительно чистым серебром. Громоздились новые летние облака над снегом, в лесах просвечивает голубое небо, вороны орут, не помня себя, синички все до одной поют брачным голосом, на лисьих следах показалась менструальная кровь.

Из шестидесяти трёх дней собачьего плодonoшения приходят последние. Даже самые маленькие верхние сосцы Кэт заметно набухли и все вместе стали грядочками, мало-помалу принимая чудесный вид сосцов сказочной волчицы, вспоившей Ромула и Рема. Кэт не становилась безобразной даже в самые последние свои дни, потому что всё её тяжёлое было внизу, а там, у земли, это было на месте и хорошо. Мы накупили много говяжьих костей, варили прекрасный бульон и, смешивая с овсянкой, давали ей, сколько она пожелает. Но всего поесть она никогда не могла. После неё из-под лавки появляется Ярик, очень осторожно подходит и доедает: он вообще как-то стушевался, осмирнел. Весь день он в львиной позе, сложив передние лапы крестиком, лежит на окне в лучах весеннего солнца и мечтает, вероятно, о близких уже днях весеннего перелёта птиц. Я тоже много сижу у окна и очень часто, совсем не думая о Ярике, вместе с ним одинаково повёртываю голову в ту и другую стороны, смотря по событиям в снегах за окном. Я задумываю новый план дрессировки собак, чтобы вся учёба проходила в полном молчании, чтобы все объяснения были бы только глазами и движениями рук. Вот если этого достигнуть, то можно приблизиться к совершенному пониманию их души прямо из себя самого. Тогда, может быть, научусь и любовь их понимать и буду рассказывать о чувствах Ярика во время беременности Кэт.

с. 194

Пока я такое разное и множество ещё всего думал, повёртывая голову вместе с Яриком за переходящими голубыми тенями кучевых облаков на снегах, Кэт разыскивала меня по комнатам и, увидав у окна, подбежала и легла. Она что-то просит. Я иду, она вскакивает и бежит к двери. Выпускаю, она быстро оправляется и назад. Я не догадываюсь и остаюсь несколько времени один на дворе, а когда возвращаюсь домой, то сразу же обращаю внимание на какие-то особенные звуки в комнате Кэт: она там громко непрерывно лакает и лижет. А когда я вошёл к ней, то увидел возле неё маленькую, новую, слепую собаку с совершенно такими же, как у неё, по белому кофейными пятнами. Нам не нужно было ей помогать, она делала всё сама языком, откусывала, проглатывала и так хорошо вычищала, что щенятки в белых местах сияли, как самый первый снег. Всё шло так благополучно, только на пятом белки её глаз стали голубыми, она обессилела и повалилась. Но мы дали ей немного вина, и она родила последнего — шестого, и это был, к счастью, ожидаемый Рем. Нам особенно нужны были кобельки, и их родилось только два — Ромул и Рем.

Проходит несколько минут самоакушёрства, мытья, и вот всё готово, нигде нет ни малейшего пятнышка, чисто вымытые слепые дети друг через друга с писком ползут, знают куда, находят, присасываются. Теперь, друзья жизни, идите, смотрите молча в эти глаза матери, об этом нельзя говорить...

Так мы смотрели, и вдруг всё изменилось: мать дрогнула, лютой злобой загорелись глаза, ощетинилась шерсть от шеи до хвоста. Мы оглянулись и увидели в дверях рыжую голову Ярика: он тоже захотел посмотреть. Ещё хорошо, что он успел повернуться, и она впиалась ему не в горло, а в зад. Он бежал с визгом, она преследовала его до кухни. Потом вернулась, легла и мелко, мелко дрожала до самого вечера.

К нам приехали гости, за чаем я рассказывал о собачьей любви, как Ярик тогда, в первую пустовку, стоял по невидимой дичи, не обращая внимания, что Кэт роняла на траву густые капельки крови, как зимой они целый месяц играли, и о Джеке рассказал, и об этой непонятной злобе Кэт, когда Ярик тоже захотел посмотреть и просунул в дверь свою рыжую голову.

с. 195

— Почему непонятной? — сказала одна дама, очень опытная в любви. — Будь у меня такой Ярик, я бы его в клочки разорвала.

— Но ведь он же не виноват, — ответил я, — ведь это мы, боги собачьи, дали иной ход любви и заменили Ярика Джеком.

— Боги тоже ошибаются, — сказала дама, — у него был такой прекрасный случай в кустах, а он дураком простоял по невидимой цели.

## Болото

Знаю, мало кто сиживал раннею весной на болотах в ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, чтобы хоть намекнуть на всё великолепие птичьего концерта в болотах перед восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом концерте, далеко ещё до самого первого намёка на свет, берет кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно не похожая на всем известный свист. После, когда закричат белые куропатки, зачуфыркают тетерева и токовик, иногда возле самого шалаша, заведёт своё бормотанье, тут уж бывает не до кроншнепа, но потом при восходе солнца в самый торжественный момент непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень весёлую и похожую на плясовую: эта плясовая так же необходима для встречи солнца, как журавлиный крик.

Раз я видел из шалаша, как среди чёрной петушиной массы устроился на кочке серый кроншнеп, самка; к ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахами своих больших крыльев, ногами касался спины самки и пел свою плясовую. Тут, конечно, весь воздух дрожал от пения всех болотных птиц, и, помню, лужа при полном безветрии вся волновалась от множества пробудившихся в ней насекомых.

с. 196 Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит моё воображение в давно прошедшее время, когда не было ещё на земле человека... Да и всё в болотах так странно, болота мало изучены, совсем не тронуты художниками, в них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле ещё и не начинался.

Как-то вечером я вышел в болота промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождём. Собаки, высунув языки, бегали и время от времени ложились, как свиньи, брюхом в болотные лужи. Видно, молодёжь ещё не вывелась и не выбиралась из крепей на открытое место, и в наших местах, переполненных болотной дичью, теперь собаки не могли ничего причуять и на безделье волновались даже от пролетающих ворон. Вдруг показалась большая птица, стала тревожно кричать и описывать вокруг нас большие круги. Прилетел и другой кроншнеп и тоже стал с криком кружиться, третий, очевидно, из другой семьи, пересёк круг этих двух, успокоился и скрылся. Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа, и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так мало-помалу, когда низкое солнце стало огромным и красным в тёплых, обильных болотных испарениях, я почувствовал близость гнезда: птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные, кривые, раскрытые для постоянного тревожного крика носы. Наконец, обе собаки, схватив верхним чутьём, сделали стойку. Я зашёл в направлении их глаз и носов и увидел прямо на жёлтой сухой полоске мха, возле крошечного кустика, без всяких приспособлений и прикрытий лежащие два больших яйца. Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя: комарики сильно покусывали, но я к ним привык.

Как хорошо мне было в неприступных болотах и какими далёкими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами, на гнутых крыльях пересекающих диск красного солнца!

с. 197 Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдаль по болоту прямо на меня шёл человек. У него не было ни ружья, ни собаки и даже палки в руке; никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причёсываясь перед зеркалом и сделав какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошёл от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек своими расспросами не спугнул мне, я это чувствовал, дорогую минуту бытия. Я велел собакам встать и повёл их на горбинку. Там я сел на серый, до того сверху покрытый жёлтыми лишайниками камень, что и селось нехолодно. Птицы, как только я отошёл, увеличили свои круги, но следить за ними с радостью я больше не мог. В душе родилась тревога от приближения незнакомого человека. Я уже мог разглядеть его: пожилой, очень худощавый, шёл медленно, наблюдая внимательно полет птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошёл к другой горюшке, где и сел на камень, и тоже окаменел. Мне даже стало приятно, что там сидит такой же, как я, человек, благоговейно внимающий вечеру. Казалось, мы без



всяких слов отлично понимали друг друга, и для этого не было слов. С удвоенным вниманием смотрел я, как птицы пересекают красный солнечный диск; странно располагались при этом мои мысли о сроках земли и о такой коротенькой истории человечества: как, правда, всё скоро прошло.

Солнце закатилось. Я оглянулся на своего товарища, но его уже не было. Птицы успокоились, очевидно сели на гнезда. Тогда, велев собакам крадучись идти назад, я стал неслышными шагами подходить к гнезду: не удастся ли, думал я, увидеть вплотную интересных птиц. По кусту я точно знал, где гнездо, и очень удивлялся, как близко подпускают меня птицы. Наконец, я подобрался к самому кусту и замер от удивления: за кустиком всё было пусто. Я тронул мох ладонью: он был ещё тёплый от лежавших на нём тёплых яиц.

Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили их спрятать подальше.

## Тёплые места

Когда мокрая, холодная Нерль возвращается с болотной охоты, мать её Кента вперёд покрикивает, зная, что она, мокрая, непременно приблизится к ней погреться на тёплом матрасике. А когда разлежится Нерль и мокрой возвращается Кента, молодая, любопытная Нерль, желая поскорее узнать, что я убил, вскакивает, и Кента занимает её тёплое место. Случается, я не иду на охоту а только проведываю собак. Обе они тогда вскакивают, навязываясь:

— Меня возьми, меня возьми!

Поглажу одну, другую. Каждая думает от этого, что я её возьму, а не другую, и от волнения лезут на грудь с лапами. Но это им строго запрещается. Я приказываю:

— Охоты не будет. Ложитесь на место!

И они ложатся на матрасики, но непременно Кента ложится на место Нерли, а Нерль на матрасик своей матери. Каждой собаке кажется, что место, занятое её соседкой, теплее.

*с. 198*

## Лесные загадки

В лесу много было тетеревов: все муравейники были расчёсаны их лапами. Но одна кочка выглядела по-иному, в ней было значительное углубление; так тетерева не раскапывают, и я не мог догадаться, какое лесное существо пробило такую глубокую брешь в муравьиной республике.

Очень досадно бывает уходить, не решив лесной загадки, и так это часто бывает: тысячи вопросов ставит природа, а справиться негде, кроме как только в своей собственной голове. Обыкновенно я так и оставляю вопрос без ответа, но запоминаю его и верю, что дождусь когда-нибудь в том же лесу и ответа. Помню, раз стал передо мною в юности вопрос: отчего начинаются болотные кочки? Читал дома книги, и все ответы мне не нравились: причин указывалось множество, а всё как-то неясно и предположительно. Раз я сел отдохнуть на лесной вырубке. Вокруг были пни на сыром месте, и между пнями на большом пространстве начался свежий моховой покров, так было красиво: эта моховая зелень была такой, как будто не солнце, а луна её освещала. И везде весь этот лунно-зелёный покров был небольшими бугорками. Я подумал: «Вот первое начало кочек!» Вслед за этим, однако, опять стало непонятно: конечно, по этим началам легко можно было представить себе дальнейшее нарастание кочек, но где же причина этому началу? Тут сама рука помогла: взял я один бугорок, снял с него моховой покров, а под ним оказалось старое гнилое берёзовое полено, то полено и было причиной мохового бугорка.

На ходу у меня как-то всё больше являются вопросы, а решения приходят на отдыхе. Так случилось и с этой, непонятным образом взрытой муравьиной кочкой. Мне захотелось тут чаю выпить. Отвинтив стаканчик термоса, я сел под сосной на мягкую моховую кочку, налил чаю, стал потихоньку пить, мало-помалу забылся и слился с природой. Тёмные, тёплые дождевые облака закрыли солнце, и тогда вместе со мной всё задумалось, и вот какая тишина наступила перед дождём: я услышал очень издали порхание дятла, звук этот всё нарастал, нарастал и вот... здравствуйте! — появляется и садится на вершине моей

*с. 199*

сосны. Подумал он там о чём-то немного, оглянулся во все стороны и так смешно: на меня-то, на такого страшного великана, вниз и не посмотрел. Это я много замечал у птиц, — вертит головой, а под собой не видит. Не только дятлы, а и глухари, случалось, сидели долго так над головой во время моих лесных чаепитий. Так дятел не обратил на меня внимания и спустился на тот самый муравейник, о котором был поставлен вопрос, и ответ был у меня на виду: дятел забрался в отверстие муравейника и принялся там воевать, добывая себе какое-то пропитание.

А то был у меня один день этим летом, вот так денёк, — столько загадок сразу, что согрешил: обругал одну ни в чём не повинную бабушку. Вышла у меня в этот день из рук на болоте первопольная моя собака Нерль. Не слушает свистка. Потяжка кончается взлётом бекаса без стойки. Я разгорячился, потерял себя, потому что мне надо было охотиться, а приходилось собаку учить. Делаю промах за промахом и опять спешу к заседающей на бекаса собаке, не успевая даже вынуть из волос своих вечно жужжащую пчелу. Наконец, кое-как овладеваю собой, беру собаку к ноге, снимаю шляпу, взъерошиваю волосы, встряхиваю, и неприятнейший звук прекращается.

Так освободился от пчелы, стало полегче, и опять захотелось пострелять. Пускаю Нерль в карьер и вижу, шагах в пятидесяти от меня она опять начинает, переступая с лапки на лапку, подбираться к бекасу. Хотел поспешить к ней, чтобы задержать наступление, но сразу обеими ногами попал в коровий растоп. Выбираюсь из грязи и слышу, опять эта же самая надоедливая пчела жужжит у меня в волосах во всю мочь.

— Чирк! — взлетел бекас без стойки.

с. 200

Не успел вскинуть ружьё. А какой был хороший... И вдруг мне послышалось, опять чиркнул бекас, он не взлетел. Так, однако, не бывает. — Чирк! — сзади другой. Обёртываюсь, нет никого. Прислушиваюсь. Жужжит пчела в волосах, стрекочет сорока в кустах. Сделал предположение, что от волнения на ходу мне так по-бекасиному сорочий крик переиначивается. Но вдруг — чирк! — а сорока сама собой. Вот тут-то я и дошёл до того, что обругал одну бабушку, которая при встрече вместо обычного «ни пера ни пуха» от всего своего чистого сердца пожелала: «Пошли тебе, господи, полную сумку набить!»

Измученный вошёл я в лес на суходол, сел на заготовленные кем-то жерди, снял шляпу, хорошо перебрал свои волосы, пчелы не было, звук перестал. Мало-помалу силы мои стали возвращаться, и вместе с тем явилась моя обычная уверенность, что догадкой можно преодолеть всякую неприятность с собакой. Необходимость таких догадок вытекает, как я думаю, из неповторимости в природе индивидуумов; каждый человек, каждое животное хоть чем-нибудь да отличается между собой, а значит, невозможно для всех случаев найти общее правило и приходится непременно догадываться самому.

Пока я предавался таким размышлениям, Нерль тихонько встала, что-то причуяла на земле, робко взглянула на меня, сделала небольшой кружок, потом побольше. Я сказал ей тихонько, намекая на приказание лежать: «Что сказано?»

Она стала приближаться, но не сразу, а тоже кругами, не дошла, опять удалилась, и опять я сказал: «Что сказано?»

При этом я заметил, что Нерль, сдержанная в поиске, старалась как можно выше задрать нос и так заменяла невозможное для неё теперь копоройство потяжкой по воздуху. В этот момент у меня мелькнула догадка. Я встаю, иду вперёд, и как только Нерль отходит от меня дальше десяти шагов, говорю ей тихонько: «Что сказано?» Так мы подходим к кусту. Она останавливается. Я повторяю: «Что сказано?» — и держу её долго на стойке. Потом вылетает черныш.

Конечно, я спешу на болото и сдерживаю поиск, дальше десяти шагов ей идти не разрешается, а потому она и поднимает голову вверх, чтобы причуять по воздуху. Вот прихватила, подбирается.

с. 201

— Что сказано?

Останавливается, выше, выше поднимает нос, втягивает воздух, замирает, по ошибке лапу поджала сначала заднюю — не понравилось, поджала переднюю, и с этой лапы стала капать в лужу вода...

Я убил одного бекаса, потом убил другого и третьего, догадкой и упрямством мало-помалу снимая «колдовство» столь незаслуженно обруганной мной бабушки. И когда дошло до пчелы, которая продолжала жужжать, я догадался: пчела не в волосах была, а попала

в шляпу за лентой. И последнее, — бекасиное «чирк», это было у меня что-то в носу, как в топком болоте, сильно потянешь в себя дыхание, так и чиркнет в носу совершенно по-бекасиному.

## Жалейка

Наш пастух в Переславищах давно пасёт и всё немой, только свистит. А в Заболотье по росе играют и пастух на трубе и подпасок на жалейке, что я за грех считаю, если случится проспять и не слышать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева с пищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Наконец, однажды я не выдержал и решил сам заняться болотной музыкой. Заказал жалейку. Мне принесли.

Слушок у меня есть, попробовал высвистывать даже романсы Чайковского, а вот чтобы как у пастуха — нет, ничего не выходит. Забросил я дудочку.

Однажды был дождь на весь день. Я сидел дома и занимался бумагами. Под вечер дождь перестал. Заря была жёлтая и холодная. Вышел я на крыльцо, лицом к вечерней заре, и стал насвистывать в свою дудочку. Не знаю, заря ли мне подсказала, или дерево — у нас есть одна большая ива при дороге, когда вечереет или на утренней темнотке очень оно бывает похоже на мужика с носом и с вихрами... смотрел я на эту голову, и вдруг так всё просто оказалось, не нужно думать об операх и Чайковском, а только перебирать пальцами, и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама своё дело делает.

Пришли женщины, сели на лавочку. Я им говорю:

— А что, бабочки, у меня как будто не хуже заболотинского пастуха?

— Лучше! — ответили женщины.

Я долго играл. Заря догорела. Показалась на дороге телега, и в ней много мужиков, один к одному. Я подумал, сейчас всё кончится, мужики наверно смеяться будут. Но, к моему удивлению, мужики лошадь остановили и долго слушали вместе с бабами.

Окончив игру, я быстро повернулся и вошёл в дом. Окно в избе было открыто. Трогая лошадь, один мужик — мне было слышно — сказал:

— Вот каши наелся!

Вслед за ним другой:

— На голодное брюхо не заиграешь!

Из этого я понял, что мужики приняли меня за пастуха на череду в хорошем доме: каши наелся и заиграл.



Осень



# Осень

## Глаза земли

С утра до вечера дождь, ветер, холод. Слышал не раз от женщин, потерявших любимых людей, что глаза у человека будто умирают иногда раньше сознания, случается, умирающий даже и скажет: «что-то, милые мои, не вижу вас» — это значит, глаза умерли и в следующее мгновение, может быть, откажется повиноваться язык. Вот так и озеро у моих ног, в народных поверьях озера — это глаза земли, и тут вот уж я знаю там наверное — эти глаза раньше всего умирают и чувствуют умирание света, и в то время, когда в лесу только-только начинается красивая борьба за свет, когда кроны иных деревьев вспыхивают пламенем, и кажется, сами собою светятся, вода лежит как бы мёртвая и веет от неё могилой с холодными рыбами.

с. 203

Дожди вовсе замучили хозяев. Стрижи давно улетели. Ласточки табунятся в полях. Было уже два мороза. Липы все пожелтели сверху и донизу. Картофель тоже почернел. Всюду постелили лён. Показался дупель. Начались вечера...

## На воре шапка горит

Тихо в болоте, и везде на траве, как холсты, мороз настоящий, видимый, не тот, о котором хозяева говорят — морос, значит, холодная роса. Только в восемь утра этот настоящий видимый мороз обдался росой, и холсты под берёзами исчезли. Лист везде потёк. Вдали ели и сосны прощаются с берёзами, а высокие осины — красной шапкой над лесом, и мне почему-то из далёкого детства вспоминается тогда совсем непонятная поговорка: «На воре шапка горит».

А ласточки всё ещё здесь.

## Птичий сон

Замерли от холода все пауки. Сети их сбило ветром и дождём. Но самые лучшие сети, на которые пауки не пожалели лучшего своего материала, остались невредимыми в дни осеннего ненастья и продолжали ловить всё, что только способно было двигаться в воздухе. Летали теперь только листья, и так попался в паутину очень нарядный, багровый, с каплями росы осинový лист. Ветер качал его в невидимом гамаке. На мгновение выглянуло солнце, сверкнули алмазами капли росы на листе. Это мне бросилось в глаза и напомнило, что в эту осень мне, старому охотнику, непременно нужно познакомиться с жизнью глухарей в то время, как им самым большим лакомством становится осинový лист, и как не раз приходилось слышать и читать, будто бы приблизительно за час до заката они прилетают на осины, клюют дотемна, засыпают на дереве и утром тоже немного клюют.

с. 204

Я нашёл их неожиданно возле маленькой вырубki в большом лесу. При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и оттого с осины над самой моей головой слетела глухарка. Эта высокая осина стояла на самом краю вырубki среди бора, и их тут было немало вместе с берёзами. Спор с соснами и елями за свет заставил подняться их очень высоко. В нескольких шагах от края вырубki была лесная дорожка, разъезженная, чёрная, но там,

с. 205

где стояла осина, листва её ложилась на чёрное ярким, далеко видимым бледно-жёлтым пятном; по этим пятнам было очень неудобно скрадывать, потому что глухари ведь должны быть теперь только на осинах. Вырубка была совсем свежая, последней зимы; поленицы дров, оставленные для вывоза следующей зимой, за лето потемнели и погрузились в молодую осиновою поросль с обычной яркой и очень крупной листвой. На старых же осинах листва почти совсем пожелтели. Я крался очень осторожно по дорожке от осины к осине. Шёл мелкий дождь, и дул лёгкий ветер, листва осины трепетали, шелестели, капли тоже всюду тукали, и оттого невозможно было расслышать звук срываемых глухарями листов. Вдруг на вырубке из молодого осинника поднялся глухарь и сел на крайнюю осину по ту сторону вырубки, в двухстах шагах от меня. Я долго следил за ним, как он часто щиплет листва и быстро их проглатывает. Случалось, когда ветер дунет порывом и вдруг всё смолкнет, до меня долетал звук отрыва или разрыва листа глухарём. Я познакомился с этим звуком в лесу. Когда глухарь ощипал сук настолько, что ему нельзя было дотянуться до хороших листьев, он попробовал спрыгнуть на ветку пониже, но она была слишком тонка и согнулась, и глухарь поехал ниже, крыльями удерживая себя от падения. Вскоре я услышал такой же сильный треск на моей стороне, а потом ещё и понял, что везде вокруг меня наверху в осинах, спрятанных в хвойном лесу, сидят глухари. Я понял также, что днём все они гуляли по вырубке, может быть ловили каких-нибудь насекомых, глотали необходимые им камушки, а на ночь поднимались на осины, чтобы перед сном полакомиться своим любимым листом.

Мало-помалу, как почти всегда у нас, западный ветер перед закатом стал затихать. Солнце вдруг всё со всеми своими лучами бросилось в лес. Я продолжил ладонями свои ушные раковины и среди лёгкого трепета осиновых листьев расслышал звук отрыва листа, более глухой и резкий, чем гулкое падение капель. Тогда я осторожно поднялся и начал скрадывать. Это было не под весеннюю песню скакать, когда глухарь ничего не слышит, поручая всего себя песне, направляемой куда-то в зенит. Особенно же трудно было перейти одну большую лужу, подостланную как будто густо осиновым листом, на самом же деле очень тинистую и топкую. Ступню нужно было выпрямлять в одну линию с ногой, как это у балерины, чтобы при вынимании грязь не чавкнула. И когда вынешь тихо ногу из грязи и капнет с неё в воду, кажется ужасно как громко. Между тем вот мышонки бежит под листвой, и она разваливается после него, как борозда, с таким шумом, что если бы мне так, глухарь давно бы улетел. Верно, звук этот ему привычный, он знает, что мышь бежит, и не обращает внимания. И если сучок треснет под ногой у лисицы, то, наверное, он будет знать наверху, что это по своим делам крадётся безопасная ему лисица. В лесу ведь всё определено и связано ритмически между собой. Но мало ли что не придёт в голову человеку, чего-чего ему только не вздумается, и оттого все его шумы резко врываются в общую жизнь.

с. 206

Однако страсть рождает неслыханное терпение, и будь бы время, вполне бы возможно было достигнуть кошачьих движений, но срок поставлен, солнце село, ещё немного, и стрелять нельзя. У меня сомнения не оставалось нисколько в том, что мой глухарь сидит с той стороны стоящей передо мной осины. Но обойти её я бы не решился и всё равно не успел бы. Что же делать? Было во всей жёлтой кроне осины только одно узенькое окошечко на ту сторону в светлое небо, и вот это окошечко теперь то закрывается, то открывается. Я понял, — это глухарь клюёт, и это его голова закрывает, видна даже бородачка этой глухаринной головы. Мало кто умеет, как я, стрельнуть в самое мгновение первого понимания дела. Но как раз в это мгновение произошла перегрузка на невидимый сучок под ногой, он треснул, окошко открылось... И потом ещё хуже — почуяв опасность, глухарь стал хрюкать, вроде как бы ругаться на меня. А ещё было: другой ближайший глухарь как раз в это время съехал с ветки и открылся мне совершенно. По дальности расстояния не мог я стрельнуть в него, но также не мог и сдвинуться с места: он бы непременно увидел. Я замер на одной ноге, другая, ступившая на сучок, осталась почти без опоры. А тут какие-то другие глухари прилетели ночевать и стали рассаживаться вокруг. Один из них стал цокать и ронять с высокой осины веточки, те самые, наискось срезанные, по которым мы безошибочно узнаем ночёвку глухарей. Мало-помалу мой глухарь, однако, успокоился. По всей вероятности, он сидел с вытянутой шеей и посматривал в разные стороны. Скоро внизу у нас с мышонком, который всё ещё шелестел, стало совершенно темно. Исчез во мраке видимый мне глухарь.



Полагаю, что все глухари уснули, спрятав под крылья свои бородатые головы. Тогда я поднял онемелую ногу, повернулся и с блаженством прислонил усталую спину к тому самому дереву, на котором спал теперь безмятежно потревоженный мною глухарь.

Нет слов передать, каким становится бор в темноте, когда знаешь, что у тебя над головой сидят, спят громадные птицы, последние реликты эпохи крупных существ. И спят-то не совсем даже спокойно, там шевельнулся, там почесался, там цокнул... Одному мне ночью не только не было страшно и жутко, напротив, как будто к годовому празднику в гости приехал к родне. Только вот что: очень сыро было и холодно, а то бы тут же вместе с глухарями блаженно уснул. Вблизи где-то была лужа, и, вероятно, это туда с высоты огромных деревьев поочередно сучья роняли капли, высокие сучья были и низкие, большие капли были и малые. Когда я проникся этими звуками и понял их, то всё стало музыкой прекраснейшей взамен той хорошей обыкновенной, которой когда-то я наслаждался. И вот, когда в диком лесу всё ночное расположилось по мелодии капель, вдруг послышался ни с чем несообразный храп...

с. 207

Это вышло не из страха, что-то ни с чем несообразное ворвалось в мой великий концерт, и я поспешил уйти из дикого леса, где кто-то безобразно храпит.

Когда я проходил по деревне, то везде храпели люди, животные, всё было слышно на улице, на всё это я обращал внимание после того лесного храпа. Дома у нас в кладовке диким храпом заливался Серёжа, хозяйский сын, в чулане же Домна Ивановна со всей семьёй. Но самое странное: я услышал среди храпа крупных животных на дворе тончайший храп ещё каких-то существ и открыл при свете электрического фонарика, что это гуси и куры храпели...

И даже во сне я не избавился от храпа. Мне, как это бывает иногда во сне, вспомнилось такое, что, казалось бы, никогда не вернётся на свет. В эту ночь вернулись все мои старые птичьи сны...

И вдруг понял, что ведь это в лесу не кто другой, а глухарь храпел, и непременно же он! Я вскочил, поставил себе самовар, напился чаю, взял ружьё и отправился в лес на старое место. К тому же самому дереву я прислонился спиной и замер в ожидании рассвета. Теперь, после кур, гусей, мой слух разбирал отчётливо не только храп сидящего надо мной глухаря, но даже и соседнего.

Когда известная вестница зари пикнула и стало белеть, храп прекратился. Открылось и окошечко в моей осинке, но голова не показывалась. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Соседний глухарь шевельнулся и тем открыл себя: я видел его всего хорошо. Он, проснувшись, голову свою на длинной шее бросил, как кулак, в одну сторону, в другую, потом вдруг раскрыл весь хвост веером, как на току. Я слышал от людей об осенних токах и подумал, не запоёт ли он. Но нет, хвост собрался, опустился, и глухарь очень часто стал доставать листы. В это самое время, вероятно, мой глухарь начал рвать, потому что вдруг я увидел в окошке его голову с бородкой.

Он был так отлично убит, что внизу совсем даже и не шевельнулся, только лапами мог впиться крепко в кору осины, — вот и всё! А стронутые им листья ещё долго слетали. Теперь, раздумывая о храпе, я полагаю, что это дыхание большой птицы, выходящее из-под крыла, треплет звучно каким-нибудь пёрышком. А, впрочем, верно я даже не знаю, спят ли действительно глухари непременно с запрятанной под крылом головой. Я это с домашних птиц беру. Догадок и басен много, а действительная жизнь леса так ещё мало понятна.

с. 208

## Умершее озеро

Тихо в золотистых лесах, тепло, как летом, паутина легла на поля, сухая листва громко шумит под ногами, птицы далеко взлетают вне выстрела, русак пустил столб пыли на дороге. Я вышел рано из дому и головную боль свою уходил до того, что лишился способности думать. Мог я только следить за движениями собаки, держать ружьё наготове да иногда поглядывать ещё на стрелку компаса. Мало-помалу я захожу так далеко, что стрелка компаса смотрит не через мой дом, и так я вступаю в совершенно мне неведомый край. Долго я продирался через густейшую заросль, и вдруг мне открылось в больших дремучих золотых

лесах совершенно круглое умершее озеро. Я долго сидел и смотрел в эти закрытые глаза земли.

Вечером почти вдруг перемена погоды: в лесу за стеной будто огромный самовар закипел, это дождь и ветер раздевают деревья. В эту ночь согласно всем моим приметам и записям должен лететь гусь.

## Первый зазимок

Ночь тихая, лунная, прихватил мороз, и на первом рассвете выпал зазимок, По голым деревьям бегали белки. Вдали как будто токовал тетерев, я уже хотел было его скрадывать, как вдруг разобрал: не тетерев это токовал, а по ветру с далёкого шоссе так доносился ко мне тележный кат.

День пёстрый, то ярко солнце осветит, то снег летит. В десятом часу утра на болотах ещё оставался тонкий слой льда, на пнях самые белые скатерти и на белом красные листики осины лежат, как кровавые блюдца. Поднялся гаршнеп в болоте и скрылся в метели.

с. 209

Гуси пасутся. В полумраке стою неподвижно лицом к вечерней заре. Были слышны крики пролетающих гусей, мелькнула стайка чирков и ещё каких-то больших уток. Каждый раз явление птиц так волновало меня, что я бросал свою мысль и потом с трудом опять находил её. Эта мысль была о том, что вот как отлично это придумано — устроить нам жизнь каждому из нас так, чтобы не очень долго жилось, и нельзя никак успеть всё захватить самому, всё без остатка, отчего каждому из нас и представляется мир бесконечным в своём разнообразии.

## Гуси-лебеди

Ночь была ясная, звёздно-лунная. Сильный мороз. Утром всё белое. Гуси пасутся на своих местах. Прибавился новый караван, и всего стало летать с озера на поле штук двести. Тетерева до полудня были все на деревьях и бормотали. Потом небо закрылось, стало мозгло и холодно.

После обеда опять явилось солнце, и до вечера было прекрасно. Мы радовались нашим уцелевшим от общего разгрома двум золотым берёзкам. Ветер был, однако, северный, озеро лежало чёрное и свирепое. Прилетел целый караван лебедей. Слышал, что лебеди очень долго держатся у нас, и когда уже так замёрзнет, что останется только небольшая серёдка и уже обозы зимней дорогой едут прямой дорогой по льду, слышно бывает ночью во тьме в тишине, как там на середине где-то густо разговаривают, думаешь — люди, а то лебеди на незамёрзшей серёдке между собой.

Вечером из оврага я подобрался к гусям очень близко и мог бы из дробовика произвести у них настоящий разгром, но, пока лез по круче, приустал, сердце слишком сильно билось, а может быть, просто хотелось поозорничать. Был пень у самого верха оврага, и я сел на него так, что поднять только голову и покажется ржанице с гусями, ближайшее от меня — в десяти шагах. Ружьё было приготовлено, мне казалось, что даже при внезапном взлёте им без больших потерь нельзя от меня улететь, и я закурил папироску, очень осторожно выпуская дым, рассеивая его ладонью у самых губ. Между тем за этим маленьким пальцем была другая балка, и оттуда совершенно так же, как и я, пользуясь сумерками, к гусям подползала лисица. Я не успел ружья поднять, как целая огромная стая гусей снялась и стала вне выстрела. Ещё хорошо, что я догадался о лисице и не сразу высунул голову. Она ходила, как собака, по гусиным следам, заметно всё ближе и ближе подвигаясь ко мне. Я устроился, утвердил локти, примерился глазом, тихонечко свистнул мышкой — она посмотрела сюда, свистнул другой раз, она пошла на меня...

с. 210

## Тень человека

Утренняя луна. Восток закрыт. Всё-таки, наконец, из-под одеяла показывается полоска зари, а возле луны остаются голубые поляны.

Озеро как будто было покрыто льдинами, так странно и сердито разрушались туманы. Кричали деревенские петухи и лебеди.

Я плохой музыкант, но мне думается, у лебедей верхняя октава журавлиная — тот самый их крик, которым они по утрам на болотах как будто вызывают свет, а нижняя октава гусятинная, баском-говорком.

Не знаю, наверно, от луны или от зари на голубых полянках вверху я, наконец, заметил грачей и потом скоро оказалось, всё небо было ими покрыто — грачами и галками: грачи маневрировали перед отлётом, галки по своему обыкновению их провожали. Где бы это узнать, почему галки всегда провожают грачей? Было время, когда я думал, что всё на свете известно и только я, горемыка, ничего не знаю, а потом оказалось, что в живой природе учёные часто не знают даже самого простого.

Поняв это, я стал в таких случаях всегда сам что-нибудь сочинять. Так вот о галках думаю, что птичья душа, как волна: в их быту какой-нибудь толчок передаётся из рода в род, как волна волне передаёт удар камня, брошенного в воду. Вот, может быть, при первом толчке грачи и галки собирались было вместе лететь, но грачи улетели, а галки раздумали. И так до сих пор из рода в род они повторяют одно и то же: соберутся вместе лететь и вернутся назад, когда проводят грачей.

Но может быть и ещё проще: так недавно ещё мы узнали, что некоторые из наших ворон являются перелётными. Почему же и некоторые из галок не могут улетать вместе с грачами?

Подул утренний ветер и свалил мою ёлочку, поставленную среди поля, чтобы можно было из-за неё подползти к гусям. Я пошёл её ставить, но как раз в тот момент, когда я поставил её, показались гуси. Добросовестно я ползал вокруг ёлочки, прячась от гусей, но они сделали несколько кругов, ёлочка всё казалась им подозрительной, да так и улетели подальше и расселись возле Дубовиц. Я стал к ним подползать из-за большого куста ивы посредине поля. На жнивье лежал белый мороз, и тень моя на белом выползала раньше меня, долго я не замечал её, но вдруг в ужасе заметил, что она, огромная, страшная, подбирается к самым гусям. Страшная тень человека на белом морозе дрогнула, начался переполох у гусей, и вдруг все они с криком в двести голосов, из которых каждый был не слабее человеческого «ура!» при атаке, бросились прямо на мой куст. Я успел прыгнуть внутрь куста и в прогалочек навстречу длинным шеям высунуть двойной ствол.

с. 211

## Белки

При первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ельник за белками. Небо тяжёлое и такое низкое, что, кажется, вот только на ёлках и держится. Многие зелёные верхушки совсем рыжие от множества шишек, а если урожай их велик, значит и белок много.

В той группе елей, куда я смотрю, есть такие, что вот как будто кто их гребешком расчесал сверху донизу, а есть кудрявые, есть молодые со смолкой, а то старые с серо-зелёными бородками (лишайники). Одно старое дерево снизу почти умерло, и на каждой веточке висит длинная серо-зелёная борода, но на вершине плодов можно собрать целый амбар. Вот одна веточка на нём дрогнула. Белка, однако, заметила меня и замерла. Старое дерево, под которым мне пришлось дожидаться, с одной стороны внизу обгорело и стоит в широкой круглой яме, как в блюде. Я раскопал прелые листья, напавшие в блюдо с соседних берёз, и открылась чёрная, покрытая пеплом земля. По этому признаку и по тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение блюда. Прошлый год в этом лесу охотник шёл зимой по следу куницы. Вероятно, она шла верхом, прыгая с дерева на дерево, оставляя на снежных ветках следы, роняя посорку. Преследование дорогого зверька увлекло, сумерки застали охотника в лесу, пришлось ночевать. Под тем деревом, где я теперь стою, жил огромный муравейник, быть может самое большое муравьиное государство в этом лесу. Охотник очистил его от снега, поджёг, всё государство сгорело, и остался горячий пепел. Человек улёгся на тёплое место, закрылся курткой, поверх завалил себя пеплом, уснул, а на рассвете дальше пошёл за куницей. Весной в то блюдо, где был муравейник, налилась вода.

с. 212

Осенью лист соседних берёз завалил его, сверху белка насыпала много шелухи от шишек, и вот теперь я пришёл за пушшиной.

Мне очень захотелось использовать время, ожидая белку, и написать себе что-нибудь в книжечку об этом муравейнике. Совершенно тихо, очень медленным движением руки я вынимаю из сумки книжку и карандаш. Пишу я, что муравейник этот был огромным государством, как в нашем человеческом мире Китай. И только написалось «Китай», прямо как раз в книжку падает сверху шелуха от шишки. Догадываюсь, что наверху как раз надо мной сидит белка с еловой шишкой. Она затаилась, когда я пришёл, но теперь её мучит любопытство, живой я, или совсем остановился, как дерево, и ей уже не опасен. Быть может, даже она нарочно для пробы пустила на меня шелуху, подождала немного и другую пустила и третью. Её мучит любопытство, она больше теперь, пока не выяснит, куда не уйдёт, Я продолжаю писать о великом государстве муравьёв, созданном великим муравьиным трудом; что вот пришёл великан и, чтобы переночевать, истратил всё государство. В это время белка бросила целую шишку и чуть не выбила у меня книжку из рук. Уголком глаза я вижу, как она осторожно спускается с сучка на сучок, ближе, ближе и вот прямо из-за спины поверх плеча моего смотрит, дурочка, в мои строки в великане, истратившем для ночёвки в лесу муравьиное государство.

— Вот раз тоже было, я выстрелил по белке, и сразу с трёх соседних елей упало по шишке. Нетрудно было догадаться, что на каждой из елей сидело по белке и, когда я выстрелил, все выпустили из лапок своих по шишке и тем себя выдали. Так мы в «подмосковной тайге» ходим за белками в ноябре до одиннадцати дня и от двух до вечера: в эти часы белки шелушат шишки на ёлках, качают веточки, роняют посорку, в поисках лучшей пищи перебегают от дерева к дереву. С одиннадцати до двух мы не ходим, в это время белка сидит на сучке в большой густоте и умывается лапками.

## Барсук

с. 213

Прошлый год в это время земля была уже белая, теперь осень перестоялась, и по чёрной земле далеко заметные ходят и ложатся белые зайцы: вот кому теперь плохо! Но чего бояться серому барсуку? Мне кажется, барсуки ещё ходят. Какие теперь они жирные! Пробую постеречь у норы. В это мрачное время в еловом лесу не сразу доберёшься до той тишины, где нет нашей комнатной расценки мрачных и весёлых сезонов, а неизменно движется всё и в этом неустанном движении находит свой смысл и отраду. Этот яр, где живут барсуки, до того крут, что, взбираясь туда, часто приходится на песке оставлять свою пятерню рядом с барсучьей. У ствола старой ели я сажусь и сквозь нижнюю еловую лапину слежу за главной норой. Белочка, обкладывая мохом на зиму своё гнездо, обронила посорку, и вот тут началась та самая тишина, слушая которую, охотник может, не скучая, часами сидеть у норы барсука.

Под этим тяжёлым небом, подпёртым частыми ёлками, нет ни малейших намёков на движение солнца, но когда солнце садится, барсук это знает в своей тёмной норе и, немного спустя, с большой осторожностью пробует выйти на свою ночную охоту. Не раз, высунув нос, он фыркнет и спрячется и вдруг с необычайной живостью выскочит, и охотник не успеет моргнуть. Гораздо лучше садиться перед рассветом, когда барсук возвращается, — тогда он просто идёт и далеко шелестит. Но теперь по времени надо бы лежать барсуку в зимней спячке, теперь не каждый день он выходит, и жалко ночь напрасно сидеть и потом днём отсыпаться.

Не в кресле сидишь, ноги стали, как неживые, но барсук вдруг высунул нос, и всё стало лучше, чем в кресле. Чуть показал нос и в тот же миг спрятался. Через полчаса ещё показал, подумал и скрылся вовсе в норе...

Да так вот и не вышел. А я ещё не успел дойти к леснику, полетели белые мухи. Неужели барсук, только высунув нос из норы, это почувал?

## Беляк

Прямой мокрый снег всю ночь в лесу наседавал на сучки, обрывался, падал, шелестел. Шорох выгнал белого зайца из леса, и он, наверно, смекнул, что к утру чёрное поле сделается белым и ему, совершенно белому, можно спокойно лежать. И он лёг на поле недалеко от леса, а недалеко от него, тоже как заяц, лежал выветренный за лето и побелённый солнечными лучами череп лошади. К рассвету всё поле было покрыто, и в белой безмерности исчезли и белый заяц и белый череп.

с. 214

Мы чуть-чуть запоздали и, когда пустили гончую, следы уже начали расплываться. Когда Осман начал разбирать жировку, всё-таки можно было с трудом отличать форму лапы русака от беляка: он шёл по русаку. Но не успел Осман выпрямить след, как всё совершенно растаяло на белой тропе, а на чёрной потом не оставалось ни вида, ни запаха. Мы махнули рукой на охоту и стали опушкой леса возвращаться домой.

— Посмотри в бинокль, — сказал я товарищу, — что это белеется там на чёрном поле и так ярко.

— Череп лошади, голова, — ответил он.

Я взял у него бинокль и тоже увидел череп.

— Там что-то ещё белеет, — сказал товарищ, — смотри полевей.

Я посмотрел туда, и там, тоже как череп, ярко-белый, лежал заяц, и в призматический бинокль можно даже было видеть на белом чёрные глазки. Он был в отчаянном положении: лежать — это быть всем на виду, бежать — оставлять на мягкой мокрой земле печатный след для собаки. Мы прекратили его колебание: подняли, и в тот же момент Осман, перевидев, с диким рёвом пустился по зрячему...

## Власть красоты

Художник Борис Иванович<sup>1</sup> в тумане подкрался к лебедям близко, стал целиться, но, подумав, что мелкой дробью по головам больше убьёшь, раскрыл ружьё, вынул картечь, вложил утиную дробь. И только бы стрелнуть, стало казаться, что не в лебедя, а в человека стреляешь. Опустив ружьё, он долго любовался, потом тихонечко пятался, пятался и отошёл так, что лебеди вовсе и не знали страшной опасности.

Приходилось слышать, будто лебедь не добрая птица, не терпит возле себя гусей, уток, часто их убивает. Правда ли? Впрочем, если и правда, это ничему не мешает в нашем поэтическом представлении девушки, обращённой в лебедя: это власть красоты.

## Туман

Звёздная и на редкость тёплая ночь. В предрассветный час я вышел на крыльцо, и слышно мне было — только одна капля упала с крыши на землю. При первом свете заворошились туманы, и мы очутились на берегу бескрайнего моря.

с. 215

Драгоценное и самое таинственное время от первого света до восхода, когда только обозначаются узоры совершенно безлиственных деревьев: берёзки были расчёсаны вниз, клён и осина — вверх. Я был свидетелем рождения мороза, как он подсушил и подбелил старую, рыжую траву, позатянул лужицы тончайшим стёклышком.

При восходе солнца в облаках показалось строение того берега и повисло в воздухе. В солнечных лучах явилось, наконец, из тумана и озеро. В просвеченном тумане всё казалось сильно увеличенным, длинный ряд крякв был фронтом наступающей армии, а группа лебедей была, как сказочный, выходящий из воды, белокаменный город.

Показался один летящий с ночёвки тетерев и несомненно по важному делу и не случайно, потому что с другой стороны тоже летел и в том же направлении и ещё, и ещё... Когда я пришёл туда, к озёрному болоту, там собралась уже большая стая, немногие сидели

<sup>1</sup>Борис Иванович Покровский, преподаватель рисования в школе II ступени (ныне школа № 1). — *Ред.*

на дереве, большинство бегали по кочкам, подпрыгивало, токовало совершенно так же, как и весной.

Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от ранне-весеннего, а ещё может быть, и по себе, что не бродит внутри тебя весеннее вино и радость не колет: радость теперь спокойная, как бывает, когда что-нибудь отболит, радуешься, что отболело, и грустно одумаешься: да ведь это же не боль, это сама жизнь прошла...

Во время этого большого зазимка озеро было совершенно чёрное в ледяном кольце, и каждый день кольцо сжимало всё сильней и сильней чёрную воду в белых берегах. Теперь распалось кольцо, освобождённая вода сверкала, радовалась. С гор неслись потоки, шумели, как весной. Но когда солнце закрылось облаками, то оказалось, что только благодаря его лучам была и вода, и фронт крикв, и город лебедей. Туман всё снова закрыл, исчезло даже самое озеро, и почему-то осталось лишь высоко висящее в воздухе строение другого берега.

## Иван-да-марья

с. 216 Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там белый снег, там чёрная земля. Только весной из проталин пахнет землёй, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом приноживаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.

Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замёрзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.

Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нём Ивана: это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марья.

По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками только жёлтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами и Марьями. Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.

Но мне нравится, что Иван перенёс морозы и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:

— Иван, Иван, где теперь твоя Марья?

## Гон

Пришёл ко мне Фёдор из Раменья, промысловый охотник. Раменье недалеко от Москвы, всего несколько часов, и всё-таки сохранились тут настоящие промышленники, всю зиму только и занимающиеся охотой на лисиц, зайцев, белок и куниц. Занятые люди, и среди них этот Фёдор, по мастерству своему — башмачник, ему охота, конечно, невыгодна, да вот поди рассуди людей.

Фёдор прослышал, будто у нас лисиц много развелось, пришёл ко мне проведать, привёл своих собак, известных в нашем краю, один *Соловей*, другой называется вроде как бы по-французски — *Рестон*.

с. 217 Соловей — великан смешанной породы: костромича, борзой, дворняжки — всё спуталось, и получилась безобманная промысловая собака: лисиц с ним хочешь стреляй, а хочешь — так бери, если только не успеет занориться, непременно загоняет и не изорвёт, а сядет против неё и бумкнет, охотник приходит и добывает.

От Соловья выходят щенки, с виду совершенно дворные, но в работе прекрасные, ходят и по зайцам, и по лисицам, и по куницам, забираются в барсучьи ходы и там, под землёй глубоко, гонят, как на земле, еле слышно, и кто этого не знает, очень удивительно и почему-то даже смешно.

Фёдоровская порода известная.

Последний сын Соловья, кобель по второму полю, особенно умен, но вид... бери и на цепь сажай двор караулить.

Московские охотники только головами качают:

— Это не собака!

Да так и зовут:

— Шарик.

Я сам зову этого лохматого, рыжего, совершенно дворового кобеля Шариком, но не потому, что презираю, как москвичи, фёдоровскую породу, а просто язык не поворачивается назвать такого демократического кобеля *Аристоном*.

Какие-нибудь тёртые *егеря* барских времён, наверно, сбили Фёдора на древнегреческое имя, но мужицкий язык оживил мёртвое слово, стало что-то вроде ренессанса, Рестон, и дальше рациональное объяснение. Рестон — значит, резкий тон, с упрощением — рез-тон.

Ну, вот, под седьмое число октября месяца приходит ко мне Фёдор, а с ним Соловей и этот рыжий Шарик. Наши деревенские охотники все, у кого есть хоть какое-нибудь ружьишко, с вечера объявились и назвались вместе идти. А не охотники всю затею всерьёз приняли и просили:

— Волка убейте!

Всем этим охотникам родоначальник сосед мой слесарь Томилин, человек лет за сорок, семья — девять человек, не прокормишь же всех лужением самоваров да починкой вёдер, вот он и занялся ещё и ружьями, собирает из всякого лома и особенно хвалится своими пружинами.

Изредка я очень люблю эти деревенские охоты, но держусь всегда в стороне, потому что каждую охоту непременно у кого-нибудь разрывает ружьё. Да немудрено, простым глазом издали видишь, как сверкают там и тут на стволах заплаты на медном припое. У одного даже и курок на верёвочке: взлетает вверх после выстрелов и потом висит. Но это им ничоём, и что ружья в цель не попадают — тоже ничего, только бы ахали...

с. 218

В особенности страшны мне шомполки, заряженные с прошлого года, в начале охоты их обыкновенно всем миром разряжают в воздух, и потом, когда хозяин продувает дым и он, синий, выходит не только в капсюль, а фонтаном во все стороны, все хохочут и говорят:

— Решето!

— Отдай бабе муку отсевать.

И так сами над собой все потешаются. Очень бывает весело, и у меня всегда является представление о тех отдалённых временах, когда так же деревнями охотились на мамонта. Я думаю, у нас даже лучше: там огромное животное, наверно, к чему-то обязывает, но у нас предмет охоты иногда листопадник-белячок, величиной с крысу, ни к чему не обязывает, а радости охотничьей и хлопот всё равно, как и за мамонтом. И так славно бывает, когда на выходе тот охотник со взлетающим курком погрозится в лес тому невиданному мамонту и скажет:

— Вот, погляди, я тебе галифе отобью!

Конечно, если бы настоящий мамонт, непременно бы кто-нибудь сказал:

— Не хвались, как бы тебе галифе не отбил.

Но тут просто:

— Ты лучше гляди, не улетел бы курок...

И какое волнение! Мастер Томилин перед охотой встаёт часа в два ночи, проверяет погоду. Я это слышу, встаю и ставлю себе самовар.

Три часа ночи.

Мы с Фёдором чай пьём. Видно напротив, что и Томилин с сыном чай пьют. Разговор у нас о зайце, что хуже нет разыскивать в листопад — очень крепко лежит.

Четыре часа.

Чай продолжается. Разговор о лисице, какая она, сволочь, хитрая. Сотни примеров.

В пять часов решаем вопрос, как лучше всего выгнать дупляную куницу. Решаем: лучше всего лыжей дерево почесать, она подумает — человек лезет, и выскочит.

с. 219

В окне начинается белая муть рассвета. Охотники все собрались под окнами и на лавочке тихо беседуют.

Подымаемся. Среди нас нет ни одного из тех досадных людей, кто вперёд перед всяким делом общественным думает про себя, что ничего не выйдет, плетётся хило и слегка оживает, когда против ожидания вышло удачно.

И даже эта тяжёлая муть рассвета не смущает нас, напротив, едва ли кто-нибудь из нас променял бы это на весенний соловьиный дачный восход.

Только поздней осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя с трудом начинает редеть ночная мгла, и радостно обозначится солнце, и падают везде капли с деревьев, будто каждое дерево умывается.

Тогда шорох в лесу бывает постоянный, и всё кажется, будто кто-то сзади подкрадывается. Но будь спокоен, это не враг и не друг идёт, а лесной житель сам по себе проходит на зимнюю спячку.

Змея прошла очень тихо и вяло, видно, ползучий гад убирается под землю. Ей нет никакого дела до меня, чуть движется, шурша осенней листвой.

До чего хорошо пахнет!

Кто-то сказал в стороне два слова. Я подумал, это мне кажется так, слух мой сам дополнил к шелесту умирающей природы два бодрые человеческие слова. Или, может быть, чокнула неугомонная белка? Но скоро опять повторилось, и я оглянулся на охотников.

Они все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц из частого ельника.

Где же это и кто сказал?

Или, может быть, это идут женщины за поздними рыжиками и, настороженные лесным шорохом, изредка очень осторожно одна с другой переговариваются.

— Равняй, равняй! — услышал я над собой высоко.

Я понял, что это не люди идут в лесу, а дикие гуси высоко вверху подбадривают друг друга.

с. 220

Великий показался, наконец, в прогалочке между золотыми берёзами, гусиный караван, сосчитать бы, но не успеешь. Палочкой я отмерил вверху пятнадцать штук, переложив её по всему треугольнику, насчитал — всего гусей в караване больше двухсот.

На жировке в частом ельнике изредка раздавалось «бам!» Соловья. Ему там очень трудно разобраться в следах: ночной дождик проник и в густель и сильно подпортил жировку.

Этот густейший молоденький ельник наши охотники называли *чемоданом*, и все уверены, что заяц теперь в *чемодане*.

Охотники говорят:

— Листа боится, капли, его теперь не спихнёшь.

— Как гвоздём пришило!

— Не так в листе дело и в капли, главное, лежит крепко, потому что начинает белеть, я сам видел: галифе белые, а сам серый.

— Ну, ежели галифе побелели, тогда не спихнёшь, его в чемодане как гвоздями пришило.

Смолой, как сметаной, облило весь ствол единственной высокой ели над густелью, и весь этот еловый *чемодан* был засыпан опавшими берёзовыми листочками, и всё новые и новые падали с тихим шёпотом.

Зевнув, один охотник сказал, глядя на засыпанный ельник:

— Комод и комод!

Зевнул и сам мастер Томилин.

С тем ли шли: зевать на охоте!

Мастер Томилин сказал:

— Не помочь ли нам Соловью?

Смерили глазами *чемодан*, как бы взвешивая свои силы, пролезешь через него или застрянешь.

И вдруг все вскочили, решив помогать Соловью. Ринулись с криком на чемодан, сверкая на проглянувшем солнышке заплатами чинёных стволов.

Всем командир мастер Томилин врезался в самую серёдку, и чем его сильнее там кололо, тем сильнее он орал.

Все орали, шипели, взвизгивали, влаивали: нигде таких голосов не услышишь больше у человека, и, верно, это осталось от тех времён, когда охотились на мамонта.

с. 221

Выстрел.

И отчаянный крик:

— Пошёл!

Первая, самая трудная часть охоты кончилась, всё равно, как если бы фитиль подложили под бочку с порохом, целый час он горел, и вдруг, наконец, порох взорвался.

— Пошёл!



И каждому надо было в радости и в азарте крикнуть:

— Пошёл, пошёл!

Уверенный и частый раздался гон Соловья, и после него, подвалив, Шарик ударил, Рестон, действительно очень резко: рез-тон.

Вмиг вся молодёжь, как гончие, не разбирая ничего, врассыпную бросается куда-то перехватывать, и с нею мастер Томилин, как молодой — откуда что взялось, — летит, как лось, ломая кусты.

Таким никогда не подстоять зайца, но, может быть, им это и не надо, их счастье — быстро бежать по лесу и гнать, как гончая.

Мы с Фёдором, старые воробьи, переглянулись, улыбнулись, прислушались к гону и, поняв, куда завёртывает заяц, стали; он тут на лесной полянке перед самым входом в *чемодан*, я немного подальше на развилочке трёх зелёных дорог между старым высоким лесом и частым мелятником.

И едва только затих большой, как от лося, треск кустов, ломаемых на бегу сорокалетним охотником, далеко впереди на зелёной дорожке, между большим лесом и частым мелятником, мелькнуло сначала белое галифе, а потом и весь серый обозначился: ковыль-ковыль, прямо на меня.

Я смотрел на него с поднятым ружьём через мушку: мамонт был самый маленький белячок из позднышков-листопадников, на одном конце его туловища, совсем ещё короткого, были огромные уши, на другом — длинные ноги, такие, что весь он на ходу своим передом та высоко поднимался, то глубоко падал.

На мне была большая ответственность — не допустить листопадника до *чемодана* и не завязить там опять надолго собак: я должен был убить непременно этого мамонта. И я взял на мушку.

Он сел.

В сидячего я не стреляю, но всё равно ему конец неминуемый, побежит на меня — мушка сама станет вниз на передние лапки, прыгнет в сторону — мушка мгновенно перекинется к носику.

Ничего не может спасти бедного мамонта.

И вдруг...

Ближе его из некоей мелятника показывается рыжая голова и как бы седая от сильной росы.

— Шарик?

Я чуть было не убил его, приняв за лисицу, но ведь это же не Шарик, это лисица...

И всё это было в одно мгновение, седая от росы голова не успела ни продвинуться, ни спрятаться. Я выстрелил, в некоей заворошилось рыжее, вдали мелькнуло белое галифе.

И тут налетели собаки...

Налетел Фёдор. С ружьём наперевес, как в атаке, выскочил из леса на дорожку мастер Томилин и потом все, сверкая заплатами ружей. Сдержанные сворками собаки рвались на лисицу, орали не своим голосом. Орала все охотники, стараясь крикнуть один громче другого, что и он видел промелькнувшую в густели лисицу. Когда собаки успокоились и молодёжь умолкла, осталась радость у всех одинаковая, как будто все были один человек.

Фёдор сказал:

— Шумовая.

Мастер Томилин по-своему тоже:

— Чумовая лисица.

## Анчар

Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть, как собака. У меня было так; пушу, а сам чай кипятить, не спешу даже, когда и подымет: пью чай, слушаю и, как пойму тон, перехватываю, становлюсь на место — раз! и готово.

Я так люблю.

Была у меня такая собака Анчар. Теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведёт на вырубку, — в этой лощине над его могилой лесная шишига стоит...

Не я выходил Анчара. Привёл раз мне один мужичок гончую, был это рослый, статный кобель и на глазах очки.

с. 223

Спрашиваю:

— Краденый?

— Краденый, — говорит, — только давно было, зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода...

— Породу, — говорю, — сам понимаю, а как гоняет?

— Здорово.

Пошли пробовать.

И только вышли из деревни, пустили, поминай как звали, только по седой узерке след остался зелёный...

В лесу этот мужичок говорит мне:

— Я что-то озяб, давай *грудок* разведём,

«Так не бывает, — думаю, — не смеётся ли он надо мной?» Нет, не смеётся, собирает дрова, поджигает, садится.

— А как же, — спрашиваю, — собака?

— Ты, — говорит, — молод, я стар, ты не видал такого, я тебя научу: о собаке не беспокойся, она своё дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить.

И ухмыляется.

Выпили мы по чашке.

— Бам!

Я так и рванулся.

Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.

— Послушаем, — говорит, — что он поднял.

Слушаем.

Густо лает, редко и хлётко гонит.

Мужичок понял:

— Лисицу мчит.

Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:

— Там у вас коров пасут?

И верно, в этой стороне пасут карачуновские.

— Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем ещё по одной.

Но недолго пришлось отдохнуть лисице, опять схватил свежий след и закружил на малых кругах, — видно, была местная. И как на малых кругах пошёл, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:

— Ну, теперь надо поспешать.

с. 224

Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у неё на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил — тяп! за шею, она — вию! и готово: лисица, — и он рядом ложится лапу зализывать.

Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:

— Анчар.

И так пошло после: Анчар и Анчар.

Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете, утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит и мало-помалу туман отдалается, и то, что было туман, стало синим между зелёными елями и золотыми берёзками, да так вот и пошло всё дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно *так* открывается сердце охотничье: хлебнул мороза и солнца, чхнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.

— Друг мой, — говорю мужичку, — по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаёшь в чужие руки?

— Я в хорошие руки отдаю собаку, — сказал мужичок, — а беда моя крестьянская: корова зелеными морозцухватила, раздулась и околела; корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.

— Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?

— Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пёструю.

Отдал я за Анчара корову.

Эх, и была же у меня осень, в лесу не накликаю, не порскаю, не колю глаза сучьями, хожу себе тихо по дорожкам, любуюсь, как изо дня в день золотеют деревья, бывает, рябцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзываться. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц — ноябрь.

Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверюшка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут гамят и бьют всё, что попадётся. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится — люблю проводить его, другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.

с. 225

И вот нужно же так: перед этим лёг было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.

До рассвета, при утренней звезде, мы чаю напились, наговорились и, когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.

Озимый клин в эту осень начинался у самой деревни, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно-зелёная, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошёл прямым ходом на лёжку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирается и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленой пошёл на вырубку, — скорей на пустошь к лошине: с вырубки русаки непременно этой лошиной бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал по другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь, как на ладони.

План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждём-пождём — нет гона, и Анчар как провалился.

— Серёжа, — кричу я...

Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну, да ведь Сергеев у нас много.

— Серёжа, — кричу я, — потруби Анчара.

Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Серёжа за рог, гляжу — Анчар к нам бежит по лошине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и ещё понял, это того русака лисица или сова перегнали с лёжки, он прошёл уже лошину, и Анчар его добирает. Вот когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружьё и прицеливается...

с. 226

И ничего бы не было, если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил: лошиной шёл человек в заячьей шапке, мне была только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне это в памяти, я понял бы, что сверху видна только шёрсточка, крикнул бы и остановился. Но я подумал — приятель мой балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.

Думал, шутит, и вдруг — бац!

Было тихо, дым весь пал в лошину и всё застелил.

Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.

Синий дым лёг на зелёную лощину. Жду я, жду, и мгновенья проходят как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вижу, спит мой Анчар на траве вечным сном, на зелёной траве, как на постели.

С высоких деревьев на малые каплют тяжёлые осенние капли, с малых — на кустики, с кустов — на траву, с травы — на землю: печальный шепоток стоит в лесу и стихает только у самой земли: тихо принимает в себя земля все слёзы...

А я на всё сухими глазами смотрю...

«Ну, что же, — думаю, — бывает и хуже, и человека по случаю убивают».

Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уж стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковей с ним обойтись, знаю ведь, не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умыть радостью. В Цыганове самогонка живёт в каждой избе, так я и решил: идти в Цыганово и всё замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь: сошёл вниз, поглядел на убитого Анчара, опять стал на место и стоит себе, будто всё ещё гона ждёт.

с. 227

В чём же тут штука?

— Гоп! — кричу.

Отозвался.

— Ты в кого стрелял?

Помолчал.

— В кого, — кричу, — ты стрелял?

Отвечает:

— В сову.

Оторвалось у меня сердце.

— Убил?

Отвечает:

— Промазал.

Сел я на камень и вдруг всё понял.

— Серёга! — кричу.

— Ну!

— Потруби Анчара.

Гляжу, схватился Серёга за рог и остановился. Сделал шаг в мою сторону: видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался.

— Ну же, — кричу, — потруби!

Он опять берётся за рог.

— Скорей, — кричу, — скорей!..

К губам рог приставляет.

— Да ну же, ну...

И затрубил.

Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь: вижу вот, как ворона за ястребом гонится, и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тукнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке: почему ему нужен обман? Смерть есть конец, всё кончается так просто и зачем-то всем надо трубить? Вот убита собака, никакой охоты у нас быть не может, и сам же он собаку застрелил и знает он: человек я не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу.

Кого он обманывает?

— Вот, — указываю, — иди ты по той тропинке, она тебя в Цыганово приведёт, мы там с тобой выпьем, иди туда и потрубивай, всё потрубивай, я же буду в лесу ходить и слушать, не викнет ли где-нибудь Анчар на трубу.

— Да ты, — говорит, — возьми рог и сам труби.

с. 228

— Нет, — отвечаю, — не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остаётся, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее.

Оробел он и спрашивает нерешительно:

— А ты сам куда пойдёшь?

Я показал в сторону, где Анчар лежит.

«Ну, — думаю, — деваться теперь ему некуда, сейчас признается».

И вот нет же, говорит:

— В ту сторону я тебе идти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься.

— Хорошо, — отвечаю, — я вон туда пойду. А ты, пожалуйста, не забывай, всё потрубливай и потрубливай.

Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил, и так ему надо версты три всё трубить и трубить.

«Нет, — говорю ему вслед, — на живых началах много бывает чудес, а на мёртвых концах чудес не случается: не отзовётся Анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит: выпьем, друг, всё кончилось».

Да, кого он обманывает?

У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая, отрубил я им конец у сушины, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил Анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дёрну, обложил. На гари был у меня примечен чёртик из обгорелого дерева, в сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его *шишигой*. Сходил я на гать, приволок эту *шишигу* и поставил Анчару памятник.

Стою, любуюсь на чёрта, а Серёжа всё трубит, трубит. «Кого ты, Серёжа, обманываешь?»

Моросит дождик, мелкий, холодный. С высоких деревьев падают тяжёлые капли на малые, с малых — на кусты, с кустов — на траву и с травы — на сырую землю. Во всём лесу шепоток стоит и выговаривает: *мыши, мыши, мыши...* Но тихо принимает в себя мать-земля все слёзы и напивается ими, всё напивается...

Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись, и на самом конце стоит лесной чёрт на собачьей могиле и с таким уважением на меня смотрит.

— Слушай, чёрт! — говорю, — слушай...

И сказал я речь над могилой, и что сказал — потаю.

После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово.

— Перестань, — говорю, — Серёжа, трубить, всё кончено, я всё знаю. Кого ты обманываешь?

Он побледнел.

Выпили мы с ним, заночевали в Цыганово. Охотника этого вы все знаете, у каждого из нас есть такой Серёжа на памяти.



Зима





# Зима

## Смертный пробег

Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза! И до сих пор, когда в сумерках гляну издали на серую полосу леса, отчего-то становится не по себе. Зато уж как удастся утро с лёгким морозцем после пороши, так я рано, далеко до солнца, иду в лес и справляю своё рождество, до того прекрасное, какое, думается самому, никто никогда не справлял.

с. 230

В этот раз недолго мне пришлось любоваться громадами снежных дворцов и слушать великую тишину. Мой лисогон Соловей подал сигнал: как Соловей-разбойник зашипел, засвистал и, наконец, так гамкнул, что сразу наполнил всю тишину. Так он добирает по свежему следу зверя всегда этими странными звуками.

Пока он добирает, я спешу на поляну с тремя елями, там обыкновенно проходит лисица; становлюсь под зелёным шатром и смотрю в прогалочки. Вот он и погнался, нажимает, всё ближе и ближе...

Она выскочила на поляну из чистого ельника далековато, вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у ней такой прекрасный, как будто совсем ненужный хвост? Показалось, будто улыбка была на её злющем лице, мелькнул пушистый хвост, и нет больше красавицы.

Вылетел вслед Соловей, тоже, как и она, рыжий, могучий и безумный: он помешался когда-то, увидев на белом снегу след коварной красавицы, и с тех пор на гону из доброго домашнего зверя становится самым диким, упорным и страшным. Его нельзя отозвать ни трубой, ни стрельбой. Он бежит и ревет изо всех сил, положив раз навсегда — погибнуть или взять. Его безумие так заражает охотника, что не раз случалось опомниться в темноте, вёрст за восемь в засыпанном снегом неизвестном лесу.

с. 231

След его и её выходил из разных концов поляны, в густоте пёс бежал по чутью и тут, завидев след, пересёк всю поляну и схватился след в след у той маленькой ёлочки, где лиса показала мне хвост. Ещё остаётся небольшая надежда, что это местная лисица, что вернётся и будет здесь бегать на малых кругах. Но скоро лай уходит из слуха и больше не возвращается: чужая лисица ушла в родные края и не вернётся.

Теперь начинается и мой гон, я буду идти, спешить по следу до тех пор, пока не услышу. Большею частью след идёт опушками лесных полян и у лисы закругляется, а пёс сокращает. Стараюсь идти по прямому, и сам сокращаю если возможно. В глазах у меня только следы, и в голове одна только и мысль о следах: я тоже, как Соловей, на этот день маньяк и тоже готов на всё.

Вдруг на пути открывается целая дорога разных следов, больше заячьих, и лисица туда, в заячий путь. У неё двойной замысел: смазать свой след и соблазнить Соловья какой-нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно и случилось. Вот свежая скидка, и, кажется, под этим кустиком непременно белый лежит и поглядывает своими чёрными блестящими пуговками. Соловей метнулся. Неужели он бросит её и погонится за несчастным зайчишкой?

Одинокий след её с заячьей тропы бежит в болото, на край по молодому осиннику, изгрызенному зайцами, пересекает поляну и тут... здравствуй, Соловей! Его могучий след выбегает из леса, снова схватываются следы зверей и уходят в глубину в смертном пробеге.

Мне почудился на ходу вой Соловья. На мгновение я останавливаюсь, ничего не слышу и думаю: так показалось. Тишина, и всё мне кажется, будто свистят рябчики. А следы

вышли в поле, солнце их всё поглубило, и так через всё большое поле голубеет дорога зверей.

Она, проворная, нырнула под нижнюю жердину изгороди и пошла дальше, а он попробовал, но не мог. Он пытался потом перескочить через изгородь. На верхней жердине остались два прохвата снега, сделанные его могучими лапами. Вот теперь я понимаю: это я не ослышался, это он, когда свалился с изгороди, с горя провыл мне и пустился в обход. Где уж он там выбрался, мне было не видно, только у границы горелицы следы снова сбегаются и уходят вместе в эти пропастные места.

Нет для гонца испытания больше этой горелицы. Тут когда-то тлела в огне торфяная земля, подымая громадных земляных медведей, и полегли деревья одно на другое и так лежат дикими ярусами, а снизу уже вновь поросло. Не только человеку, собаке, но тут всё равно и лисице не пройти. Это она сюда зашла для обмана и не надолго. Нырнула под дерево и оставила за собой нору, он же смахнул снег сверху и прервал хорьковый след на бревне. Вместе свалились, обманутые снежным пухом в глубокую яму, и у неё скачок на второй ярус наваленных елей, перелаз на третий и потом ход по бревну до половины, и он продержался, но свалился потом в глубокую яму. Слышно, недалеко кто-то заготавливает дрова, тот, наверно, любовался спокойно, видел всё, как звери один за другим вздымались и падали. Человеку невозможно пройти этим звериным пробегом. Я делаю круг по краю горелицы, и вот как тоскую, что не могу, как они.

Встретить выходные следы мне не пришлось. Я вдруг услышал со стороны казённого долгий жалобный залиvistый лай. Бегу прямо на вой, гону помогать, трудно мне дышать и жарко на морозе, как на экваторе.

Все мои усилия оказались лишними. Соловей справился сам и снова вышел из слуха. Но разобрать, почему он так долго и жалобно выл, мне интересно и надо. Большая дорога пересекает казённый. Я понимаю, она выбежала на эту дорогу, и по её свежему следу прямо же проехали сани. Может быть, вот эти самые сани теперь и возвращаются, расписные сани, в них сваты, накрашив носы, едут с заиндевелыми бородами, за вином ездили? Соловей сюда выбежал на дорогу за лисицей. Но дорога не лес, там он всё знает, куда лучше нас, от своих предков волков. Здесь дорога прошла много после, и разве может человек в лесных делах так научить, как волки? Непонятна эта прямая человеческая линия и страшна бесконечность прямых. Он пробовал бежать в ту сторону, откуда выехали сваты за вином, всё время поглядывая, не будет ли скидки. Так он долго бежал в ложную сторону, и бесконечность дороги, наконец, его испугала, тут он сел на край и завыл, звал человека раскрыть ему тайну дороги. Сколько времени я путался в горелице, а он всё выл!

Верно, он просто вслепую бросился бежать в другую сторону. В одном краешке дороги осталось её незатёртое чирканье, тут он ободрился. А дальше она пробовала сделать скачок в сторону, и почему-то ей не понравилось, вернулась, и на снегу осталась небольшая дуга. По дуге Соловей тоже прошёл, но дальше всё было стёрто: тут возвратились с вином сваты и затёрли следы Соловья. Может быть, и укрылось бы от меня, где она с дороги скинулась в куст, но Соловей рухнул туда всем своим грузом и сильно примял. А дальше на просеке вижу опять, смерть и живот схватились в два следа и помчались, сшибая с чёрных пней просеки белые шапочки.

Недолго они мчались по прямой — звери не любят прямого, опять все пошли целиной от поляны к поляне, от квартала в квартал.

Радостно я заметил в одном месте, как она, утомлённая, пробовала посидеть и оставила тут свою лисью заметку.

И спроси теперь, ни за что не скажу, не найду приблизительно даже, где я настиг наконец-то гон на малых кругах. Был высокий сосновый бор и потом сразу мелкая густель с большими полянами. Тут везде следы пересекались, иногда на одной полянке по несколько раз. Тут я услышал нажимающий гон: тут он кружил. Тогда моя сказка догадок окончилась, я больше не следопыт, а сам вступаю, как третий и самый страшный, в этот безумный спор двух зверей.

Много насело снежных пушинок на планку моей бескурковки, отираю их пальцем и по ожогу догадываюсь, как сильно крепнет мороз. Из-за маленькой ёлки я увидел, наконец, как она тихо в густели ельника прошла в косых лучах солнца с раскрытым ртом. Снег от мороза начинает сильно скрипеть, но я теперь этого не боюсь, у неё больше силы не хватит

кинуться в бег на большие версты, тут непременно она мне попадётся на одном из малых кругов.

Она решила выйти на поляну и перебежать к моей крайней ёлочке, язык у неё висел на боку, но глаза по-прежнему были ужасающей злости, скрываясь в своей обыкновенной улыбке. Руки мои совсем ожглись в ожидании, но хоть бы они совсем примёрзли к стальным стволам, ей не миновать бы мгновенной гибели! Но Соловей, сокращая путь, вдруг подозрил её на поляне и бросился. Она встретила его сидя, и белые острые зубы и улыбку свою обернула прямо в его простейшую и страшную пасть. Много раз уж он бывал в таких острых зубах и по неделям лежал. Прямо взять её он не может и схватит только, если она бросится в бег. Но это не конец. Она ещё покажет ему ложную сторону взмахом прекрасного своего хвоста и ещё раз нырнёт в частый ельник, а там вот-вот и смеркнется.

с. 234

Он орёт. Дышат пасть в пасть. Оба заледенели, заиндевели, и пар их тут же садится кристаллами.

Трудно мне подкрадываться по скрипящему снегу; какой, наверно, сильный мороз! Но ей не до слуха теперь: она всё острит и острит через улыбку свои острые зубки. Нельзя и Соловью подозревать меня: только заметит и бросится, и что если она ему в горло наметилась?

Но я, незаметный, смотрю из-за еловой лапки, и от меня до них теперь уже немного.

На боровых высоких соснах скользнул последний луч зимнего солнца, вспыхнули их красные стволы на миг, погасло всё рождество, и никто не сказал кротким голосом:

— Мир вам, родные, милые звери.

Тогда вдруг, будто сам дед-мороз щёлкнул огромным орехом, и это было не тише, чем выстрел в лесу.

Всё вдруг смешалось, мелькнул в воздухе прекрасный хвост, и далеко отлетел Соловей в неверную сторону. Вслед за дедом-морозом, точно такой же, только не круглый, а прямой с перекатом, грянул мой выстрел.

Она сделала вид, будто мёртвая, но я видел её прижатые уши. Соловей бросился. Она впилась ему в щеку, но я сушиной отвалил её, и он впился ей в спину, и валенком я наступил ей на шею и в сердце ударил финским ножом. Она умерла, но зубы так и остались на валенке. Я разжал их стволами.

Всегда стыдно очнуться от безумия погони, подвешивая на спину дряблого зайца. Но эта взятая нами красавица и убитая не отымала охоты, и её, мёртвую, дать бы волю Соловью, он бы ещё долго трепал.

И так мы осмеркались в лесу.

## Сердце зимы

Я поселился на береговой горе самого большого озера в средней России в пустынном доме, обвеянном сказаниями суеверных людей о чертях, стерегущих клады, зарытые будто бы в этой горе. Я рассчитывал, что поживу здесь только лето, но вышло не так, как думалось: явились сюда географы для обследования озера, странные какие-то люди, и заманили жить здесь круглый год.

с. 235

Географы, как я замечал, всегда странные люди, во всяком случае не такие, как все мы, устраивающие свою жизнь так, будто земля неподвижная и плоская; географы живут на земле, как на корабле, мчатся вокруг солнца, и им, конечно, жизнь наша представляется иначе...

И все молодые люди этой экспедиции были очень странные, только начальник их, пожилой седеющий профессор, очень здоровый, неутомимый человек, был как будто совсем и не похож на географа: весёлый, обыкновенный человек. Мы с ним сговорились устроить в этом доме географическую станцию, и я соглашался взять на себя для начала дела роль и наблюдателя и коменданта. Перед отъездом студенты перетащили в мою комнату все многочисленные географические инструменты и приборы, профессор дал слово, что через неделю непременно вернётся с бумагой о моём назначении, даст инструкции для наблюдений и научит обращаться с приборами. Это было в июле, теперь зима, профессора всё ещё

нет. Инструменты лежат в углу запылённые, без употребления. Профессор оказался, как все географы, тоже странным человеком...

В ожидании профессора я стал делать наблюдения по-своему. Мне пришло в голову, что раз меня в географии интересует только воспитание в себе чувства жизни как движения, то не всё ли равно, буду я наблюдать точным научным способом или же как мне самому представляются ежедневные изменения в виде солнца, месяца, озера, вообще пейзажа и жизни человека, близкого к природе. Ведь и при таком наблюдении непременно получится сегодня не как вчера, и завтра я тоже отмечу новый этап в движении нашей планеты. Я стал изобретать свои методы наблюдений, учиться давать верные и яркие характеристики проходящим дням. Несколько недель я путался, боролся сам с собой, как всегда бывает при начале нового дела, но мало-помалу вошёл в колею, и мне стало, будто я путешествую, а корабль мой — планета Земля.

с. 236 Я брал для записей разные мелочи, какие мне только попадались на глаза, и сегодня это пустяки, а завтра из сопоставления с другими новыми мелочами получалась картина движения планеты. Вчера кипела жизнь в муравейнике, — сегодня они убрались в глубину своего государства, и мы отдыхаем в лесу на муравьиной куче, как в мягком кресле. Вчера ночью мы ехали на санях закрайком озера, слышали с незамёрзшей его стороны разговор между собой лебедей, в морозной пустынной тишине лебеди казались нам какими-то разумными существами, у них был какой-то очень серьёзный совет. Сегодня лебеди улетели, мы разгадали совет лебедей — они сговаривались об отлёте. Я записал тысячи трогательных подробностей, сопровождавших странствование вокруг солнца нашей вертящейся планеты: и как шумела чёрная, наполненная ледяными иглами вода о ледяные закрайки, и как в солнечный день сверкали плавающие льдинки, и как последние чайки обманывались, принимая их за рыбу, и как однажды в тишине совершенно прекратился шум озера и только гудела телефонная проволока над мёртвой равниной, где вчера кипела такая сложная жизнь.

Теперь я не раскаиваюсь, что остался здесь зимовать, и не очень досаую на географа, что он не научил меня обращаться с приборами. Не всякий может достать себе дорогие приборы, но как я делаю, доступно каждому: прокладываю путь для множества людей, разбросанных в степях, в лесах и пустынях необъятной страны, воспитанных на плоскости, в неподвижности томящихся узким своим кругозором... Всего ведь какие-нибудь десять минут в день для характеристики проведённого дня, и через несколько месяцев получится новая картина движения жизни и единственная, потому что жизнь не повторяется, путешествие наше вокруг солнца каждый год совершается по-иному.

с. 237 В предрассветный час иногда зарождается мороз, определяют направление и сила ветра, и потому, если хочешь понять, как сложится день, непременно надо выйти из дома и наблюдать предрассветный час. От моего жилища до крутого обрыва над озером всего двадцать шагов, тут я стою, наблюдаю, как по диску луны перемещается тончайшая веточка осины, другая проходит, третья, этот осинник, как бы шерсть земли, в которой запрятался я, и эти веточки, отдельные шёрсточки, проходя по диску луны, открывают мне движение планеты — любимый мой опыт и, кажется, единственный, позволяющий видеть глазами движение... Так легко на этом высоком кряже в пустынный предутренний час забыть от неверного, нажитого с детства представления жизни на неподвижной плоскости и чувствовать себя пассажиром огромного корабля на точке его, обозначенной меридианом и параллелью. Да, я пока пассажир, но пройдёт большое время, и это мой же собственный дух, перемещённый в другого, через тысячу жизней вперёд поведёт этот корабль от потухающего солнца к какому-нибудь более горячему светилу...

Сильный ветер порывом налетел, закачал осины и спутал видимое движение. Но всё равно, видно или не видно глазами, земля несётся в пространстве. Ветер сильнееет. Деревья начинают стучать друг о друга оледенелыми сучьями. Каждые десять минут на рассвете температура падает на полградуса, и вот уже становится невыносимо стоять на мостике будущего капитана земли: пятнадцать при сильном ветре. Восход начался в красных мечаях.

На пять минут я забежал домой поставить самовар, и, когда вернулся, мечей уже не было, солнце закрылось, и по всему озеру бежали дымки метели, обнажая местами тёмный лёд. Пока не замело ещё ночные следы зверей, я спешу на лыжах проверить волка, стерегущего мою охотничью собаку, и скоро нахожу в кустах отпечатки его хорошо знакомых мне лап, и лисица была, оба подходили к могиле моей собаки и тормозили обглоданные кости.

Я догадываюсь, что волк — глубокий старик, потому что всегда держится отдельно от стаи: у них уж такой порядок заведён: если остарел, зубы плохи и не поспевают за молодыми, работой отдельно. Такой волк занимается больше собаками и зато у охотников называется *собашником*. Из-за этого проклятого собашника я дрожу каждый раз, когда мой Соловей погонит лисицу и выйдет из слуха. Рассматривая следы, я говорю: «Погоди, любезный, вот скоро я доберусь до тебя, попробуешь ты моего горошку». След идёт из брусничного оврага в поле, а там несёт и так удивительно наматывает на след, что он становится выпуклым, далеко видными шишками с точным изображением пальцев, когтей, будто из гипса по форме отлитыми. Некоторое время я иду по шишкам, но капризная метель вдруг как будто не захотела, чтобы я проник в звериные тайны, и совсем начисто перемела.

На обратном пути я вспомнил лисий след и на случай пробую его обойти: в метель лисице очень удобно залечь в этом овраге. Я иду по кругу, считая входные и выходные следы, и не знаю до самого последнего шага, смыкающего начатый круг, тут она или вышла. Под конец между мной и начальным следом — плотный кустик можжевельника, и тут уже всё моё сердце начинает биться, я обхожу кустик: выходного следа нет, круг сомкнут, и я владею значительной тайной прилегающей к моему дому местности, что в этом небольшом отъёмчике спит грозный враг моих тетеревов и куропаток.

с. 238

Теперь, когда всё кончено, мне хорошо известна история её ночных походов. Вчера в сумерках она охотилась за тетеревами, которых летом я не стрелял, берёг, чтобы слушать весной с крыльца токование. Всего их тут шесть: две серых тетёрки и четыре петуха, краснобровых и с лирами. Снег уже такой высокий, что они могли доставать снизу ветки можжевельника, они бродили тут весь день и везде между кустами оставили на снегу прелестные цепочки своих следов. Под вечер они тут же и зарылись в снег, каждый сделал себе в сугробе отличную комнатку с маленьким окошечком вверх для дыхания. Лисица ещё в сумерках, вероятно по цепочкам следов, подобралась к спальням и схватила одного петуха. На снегу осталось множество перьев, и дальше долго всё капала кровь. Лисица хорошо наелась, свернулась калачиком на большой, широкой, как стол, моховой кочке, под снегом, будто под скатертью. Она была очень сыта и не пошла на утреннюю охоту, а главное, её остановила, должно быть, метель.

Лисица спит и не слышит, не знает, что на жизнь её готовится заговор. Два охотника совещаются между собой, шёпотом спорят и, наконец, решаются, пользуясь сильным ветром, срезать ещё немного оклад. Им это удалось, теперь они берут по большой катушке и развешивают по окладу на кустиках шнур с красными флагами, идут в разные стороны, оставляя за собой магический круг, сходятся, торжествуют — лисица зафлажена, и это значит, всё равно, что взята.

Если захотеть, можно держать её три дня и больше под флагами, потому что она слишком хитра по-звериному, но не хватает у неё одной крупинки человеческого, зачем человеческого, даже рысего, даже медвежьего разума, чтобы плюнуть на всю затею охотника и махнуть через оклад.

Против одной маленькой, но очень плотной ёлочки, за которой так удобно спрятаться, охотники снимают немного шнура с флагами и так оставляют выходные воротца. Один охотник с ружьём наготове остаётся за ёлкой. У него безосечные патроны, залитые парафином для кучности боя. Другой охотник вступает в круг с противоположной стороны, тихонько движется, наступает по входному следу — то чуть-чуть свистнет, то заломит замёрзший сучок.

с. 239

Лисица ещё спит, ещё не знает, что вокруг неё сомкнутая цепь флагов с единственным выходом через роковые воротца. Но слух у неё хорош и во сне. Что-то свистнуло. Подымает голову. Треснул сучок. Встаёт. Ещё послушала. Идёт тихонечко, идёт, идёт...

— Стой, флаги...

Назад идёт, трусит...

— Стой, флаги...

Осела. Прислушалась, совсем близёхонько треснул сучок. Пошла скачками прямо на роковые воротца...

Стой. Неминуемо: скорее на часах зацепится стрелка о стрелку, чем дрогнет чёрная мушка, поставленная на рыжий бок...

Бывает охота по правилам и бывает по случаям. Я большей частью охочусь по правилам,

а живу по случаям: не соберусь всё как-то устроиться, всё как-то жалко время терять на пустяки, жизнь так коротка... Можно ли благоразумному человеку забытья до того, чтобы, заехав в самое сердце зимы, не запастись дровами и довести свою кассу до того, что в ней осталось всего шестнадцать копеек. Но я живу по случаям не один год и за это время понял, как нужно вести себя, чтобы случаи повторялись: нужно встречать их всегда с весёлым лицом... Знаю, как нелегко быть весёлым, когда на сердце кошки скребут, но что же делать, если не можешь по правилам. Так вот, сгорела у меня последняя вязанка дров, а я пошёл на охоту, вернулся с лисицей. Кто-то видел меня с лисицей, слух дошёл до *кошатников*, и не успели мы шкурку снять, является и даёт мне за неё денег на две с половиной сажени берёзовых дров. С кошатником я наказал приятелю своему, охотнику дяде Михею, чтобы он непременно и как только можно скорее привёз мне сухих дров.

с. 240 Всю эту ночь бушевала метель и выдула дом совершенно. В предрассветный час вышел я наблюдать и сейчас же вернулся, — нечего наблюдать, кругом гудит, свистит, несёт сверху и снизу, вмиг пронизывает до костей. А между тем в этот час, наверное, дядя Михей, плотно поев, одевается и едет в лес за дровами. У него такого случая быть не может, чтобы одним выстрелом добыть себе две с половиной сажени, он не рассеянный, живёт по правилам, заготовил дрова в лесу ещё летом. Он продаёт их, чтобы жить, но сознает, что дело его большое, для всех важное, и если он ест кусок, то знает, что другой его же кусок люди едят... Заготовленные сухие дрова он продаст, сам же топится сырыми, и потому в избе у него всегда холодно. Жить можно бы только на печке, да там только ребятишкам да бабам места хватает, а дядя Михей спит в печке. Но тут уж я отказываюсь понимать эту жизнь в печке по правилам и живу, стараюсь по возможности не обижать других, по случаям...

На рассвете ещё слабо несло, только нос щекотало, лыжа тонула в снегу на пол-аршина, я посмотрел на дом со стороны и подивился: это не дом был, а какой-то нансеновский «Фрам» в полярной стране, засыпанный, затёртый, а вокруг белый курящийся зыбучий океан, далеко вокруг никакого жилья, никакого следа человека, и даже засыпаны все звериные следы совершенно. Конечно, сегодня старухе не принести молока из деревни. И дядя Михей, верно, пожалеет сначала свою лошадедку, потом, может быть, и себя. Что же делать-то? Одеваюсь, подпоясываюсь, беру топор, иду в лес, приволоку сам какое-нибудь сырье... В можжевельниках намело неправильные, островерхие, похожие на дюны сугробы, я провалился в одном по самую шею, барахтался, ознобил руки. А пока я бился в сугробе, вдруг встало белое во весь рост от земли и до неба. Казалось, белый охотник окладывает меня своим шнуром...

Странно увеличиваются в метель все предметы. Кустарник мне показался стеной высокого леса, и вдруг из него выскакивает зверь, высотой в пол-леса, с ушами в аршин. Зверь летел прямо на меня так, что я даже для обороны взмахнул топором, но зайцу я показался наверное ещё страшнее, чем он мне, и он сразу махнул в сторону. Вслед за ним показалось и то, что его подшумело, какая-то высокая башня, а из этого вышел дядя Михей и обыкновенным своим голосом говорит мне о зайце:

— Будь у меня палка в руке, я бы этого косога черта забил.

Палкой он, правда, кажется, больше их убил, чем из ружья.

с. 241 — Ну, а как же дрова, дядя Михей?

— Свалил.

Не мог довести и где-то недалеко в поле свалил. Мы перевозим их на санках и сразу пускаем в ход во все печи. Из всех труб мой «Фрам» гонит дым, но он сразу и исчезает, как дым папироски, присоединяясь к белому, что стало от земли и до неба.

Когда в комнате мало-мальски согрелось, я записал свои наблюдения зимы: то белое красивое, что было до сих пор и всеми называется зимой, мне представилось только большим *зализком*, а в сердце зимы мы вступаем только теперь. В этом сердце зимы мне всё чудится, будто охотник окладывает нас и оставляет для каждого неизбежные роковые воротца.

Что же делать?

На смену из прежней тёплой жалости к человеку встает суровая, как зима, решимость к борьбе за жизнь.

Дрова разгораются.

## Солнцеворот

Сколько в эту снежную зиму слетело с неба белых чистых пушинок, столько же — не меньше! — матерных слов вылетело из уст обозного мужика, поставляющего строевой лес из глубины Переславль-Залесского уезда на станцию Берендеево. И чем больше летит снега, тем больше ругаются, потому что при встречах каждому хочется засадить в снег по шею не свою лошадь, а своего ближнего.

При хорошем своём настроении я не обращаю никакого внимания на ругань в обозе, а только измеряю глубину снега, толщину льда на озере, отмечаю всякое новое явление в жизни природы и так делаю своё радостное заключение о движении земли, и мне кажется тогда, будто я путешествую вокруг солнца и корабль мой — Земля. Я отмечаю каждый день новой характеристикой и воспитываю своё внимание к постоянному движению жизни, которая, протекая, никогда не возвращается назад в той же форме.

Но если случится какая-нибудь передряга в каюте моего корабля или понездоровится так, что я не в силах любоваться слетающими с неба пушинками, я слушаю только ругань в обозе и, замечая, как она усиливается, тоже делаю заключение об утолщении снежного покрова, мешающего мужикам разъезжаться, значит, тоже о постоянном движении планеты: всё равно, куда ни смотри — на небо или на землю, — мы движемся...

с. 242

Мы все воспитались в сознании жизни на плоскости и в неподвижности, не учитывая в своей обыкновенной жизни головокружительный полет нашей планеты. Наши школьные географические познания мы отбрасываем, как не имеющие никакой рабочей ценности в нашей повседневной жизни. Я всё думаю об этом, думаю, и мне кажется иногда, что моя работа над учётом и характеристикой каждого момента движения планеты, если я сумею раскрыть его человеку, воспитанному жизнью на плоскости, грандиозна. Моё путешествие на Земле будет называться Круглый год.

Из *подшефного* села учительница с мальчиком мне прислала «Известия». Я сказал мальчику:

- Какой у нас завтра праздник?
- Советский, — ответил мальчуган.
- Рождество, — сказал я, — праздник христианский, при чём тут советский?
- Ну что ж...
- Как «ну что ж»! Будут у вас в селе праздновать,
- Не будем! Они не хотят наше рождество праздновать, а мы ихнее.
- Дурачок, кто это *они*?

Я рассказал мальчику о движении земли вокруг солнца и о предстоящем завтра великом празднике Солнцеворота, означающем прибавление света и, может быть, разума. Мальчик, оказывается, всё это слышал в школе и слушать ещё раз географию ему неинтересно: пусть летит Земля и прибавляется свет, веселиться они всё-таки будут.

«Он прав! — решил я. — Географию надо сделать весёлой, и тогда мы победим».

После этого разговора я записал себе для памяти, что путешествие своё вокруг солнца я непременно должен описать весело.

Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор — всё метёт и метёт. Казалось, назавтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матёрая пара волков задержалась до света на приваде. Их кто-то подшумел на темнорынке, они вышли на озеро и сели в раздумье, куда им идти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, с своим помощником, кассиром из казначейства, Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в кусты и, когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись недалеко от села, за коровьим кладбищем.

с. 243

Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу. В спешке за его шагом убьёшься до того, что свалишься и, как собака, хватаешь ртом снег и видишь, как пар валит от себя, а великан подойдёт и, упрекнув в малодушии, ещё лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в оклад и прямо являюсь на номер стрелком.

Я никак не думал в этот день об охоте, и вдруг за мной приезжают:

- Волки зафлажены!

Это значит, по окладу развешены флаги, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь стрелков. Если охотнику скажут «волки зафлажены», то он бросает всё и спешит без памяти потому, что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все взяли лес, приехал за мной мальчик на жеребёнке и почти что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребёнке, пока встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская подводу, считаем её за долгую версту. Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты считаем. А день заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах — короткий день, из-за этого часто не удаётся облава. Но мы в селе при хорошем свете, остаётся только верста до болота без встречных обозов.

И вот в селе при такой-то нашей спешке хозяин жеребёнка велит нам:

— Слезайте!

— Как?

— Рядились до села.

Так постоянно бывает в борьбе с *серыми помещиками*, что зимой, когда стада на дворе, крестьяне охотнику ставят палки в колёса, а когда волка убить невозможно, летом, и он ежедневно режет скотину, все вопят о помощи. Мы к этому привыкли и спокойно набавляем хозяину жеребёнка рубль, два, три. Когда волк будет убит, расплачиваться будет Федя лыжей по заду, а вокруг будут смеяться и приговаривать: «Наддай, наддай ещё, Федя, ему, подлецу».

с. 244 Через минуту мы освобождаемся от хозяина и катим без задержки. На развилине лесных дорог нас дожидается человек и машет рукой. Мы оставляем сани, подходим, он шепчет:

— Скорей, скорей, дожидаются!

Курить уже больше нельзя. А чтобы не кашлять, как это всегда бывает, если оборвёшь куреву, — в рот кусок сахару. В других богатых командах за кашель полагается штраф, но у нас ни с кого ничего не возьмёшь, у нас и так все боятся, потому что за кашель Федя побьёт: штраф у нас натуральный.

Второпях мы лыжи забыли, а спешить по глубокому снегу, значит, в несколько минут запыхаться, и сердце так бьётся, что в лесу отчётливо слышится эхо от его ударов, а в ушах звенят колокольчики.

Юноша мой, завидев первые флаги, пускается бежать. И трудно не взволноваться при виде этих следов таинственного лесного дела. А Федины флаги необыкновенные: правильные, разноцветные, так что будто это фонарики. Мы с версту идём по линии флагов, пересекаем входные волчьи прыжки и тут видим *молчуна*. Его дело молчать и слушать *кричан*, и если волки сюда бросятся, — нажать и послать на стрелков, потому что, испуганные, иногда они могут перескочить через флаги. Молчун может иметь удовольствие не меньше, чем и стрелок: нажмёт, и вслед за тем послышится выстрел.

Флаги кончаются. Мы подошли к тем роковым для волков воротам, через которые они должны проходить. Тут у ворот выкопал себе в снегу яму кассир казначейства, Дмитрий Николаевич, обставил её ёлками, и над засадой видна только его шапка, повязанная белым платком. Через сто шагов такая же засада у Феде. Великан подымается, снимает и для нас флаги, из кожаного футляра вынимает пилку и в один миг из ёлочек делает новые засады для нас. Мне кажется, что и пилку эту он сделал собственными руками, чтобы пилила бесшумно, и лыжи такие только у него, сам делал, сам пропитал их каким-то снадобьем, чтобы в оттепель не прилипал снег. Он знает сотню ремёсел, и говорят даже, когда-то в прежние годы своими руками сделал магазин, роздал в долг товары охотникам и прогорел навсегда.

с. 245 Волки *сделаны* отлично, но загонщики пошли без *ерша*, значит без руководителя. Обычно *ершом* бывает сам Федя, но в этот раз он не надеялся, что мы успеем приехать, и сам стал на номер. До его слуха сразу дошло, что загонщики пошли дуром, и как же, наверно, чешутся у него руки на них! Слева от меня стоит мой юноша, и я за него очень побаиваюсь. В одиночку можно прекрасно стрелять бекасов, а на людях иногда труднее в волка попасть. Бывает, волк проходит на шестьдесят шагов, — девяносто процентов, что положишь его, но этот волк идёт так, что, если удержишься от выстрела, он к соседу придёт и на десять шагов; значит, надо овладеть собой и удержаться. Бывает, выходит один волк и в пяту ему наступает другой, надо пропустить первого, стрелять второго и, когда



первый от этого замешается, бить и его. А неопытный ударит первого и тогда второго ему не видать. Таких случаев множество.

Передо мною стожар, левее ёлка, по одну сторону её стоит мой юноша, по другую идёт волк на махах. Волк миновал ель и, как бы ослеплённый поляной, на мгновение останавливается: задние ноги глубоко в снегу, передние не провалились. Странный цвет у волка на снегу, не серый, нет... И вдруг он весь проваливается в снег, пробует подняться, ещё выстрел, и он совсем исчезает в снегу, а я так и остаюсь с вопросом, какой у него, живого, на снегу был цвет.

Убита матёрая волчица так чисто, что не успела даже снега примять, как живая положила морду на передние лапы, уши торчат.

— Чисто убита, — говорит Федя, довольный прекрасным выстрелом, — только зачем же ты ещё раз стрелял?

Юноша молчит, но это известно почему: за упущенного волка штраф в нашей команде тоже бывает натурой, так уж лучше для верности ещё раз стрельнуть в мёртвого.

Волчица была неопределённого цвета, серое с жёлтым, но это совсем не то, что мне показалось, когда она так гордо стояла живая на снегу; потихоньку я спросил юношу, какой она ему показалась, когда стала против стожара.

— Зелёная, — ответил юноша.

Два парня, выдернув стожарину, продевают через связанные ноги волка и несут его совершенно так же. Как на картинках убитых львов носят в Центральной Африке. Федя устраивает волка в санях так, что при малейшем повороте встречная лошадь, завидев страшную голову зверя, бросалась бы в снег и так без спора освобождала дорогу борцу с серыми помещиками.

Мой дом стоит над озером на высокой береговой горе, внизу по берегу та самая дорога, по которой почти непрерывно движутся обозы с лесом. В ночь после праздника Солнцеворота возвращался пустой обоз со станции за лесом, — пронюхали, что лесная контора не будет отпускать лес три дня по случаю праздника, а потому, что железная дорога работы не останавливает, выдумали вывезти из лесной конторы в ближайшую деревню загодя столько, чтобы можно было возить лес на станцию без остановки во все дни праздника рождества по новому стилю.

с. 246

Пустой обоз шёл обратно в ту деревню за лесом. Месяц только что народился, было совсем темно. Мне удалось после облавы в селе достать резвую лошадку, и, приехав много раньше товарищей, я приготовлял для них кое-что. При долетавших до меня и через окно криках в обозе при встречах я думал о неизмеренном мной сегодня новом осадке снега и заполнял пропущенный день для точных измерений прибавкой на слух руготни. Так или так, мне всё равно, лишь бы чем-нибудь каждый день отмечать движение планеты и потом связать волшебной траекторией весь круглый год. И, конечно, мне много лучше, если движение удаётся сразу же выразить не цифрами, а в образах жизни: цифры остаются в обсерваториях, а люди живут, не зная о них, на плоскости и в неподвижности. Мои образы должны проникнуть в сознание обывателя, которому утолщение снежного покрова много понятней по усилению ругани на дорогах, чем по числу делений в мензурке.

«А ведь есть и аэросани», — подумал я.

И в тот самый миг, как я подумал про аэросани, внизу пронёсся такой ураган ругани, такие крики, что я сразу понял: такой крик не может быть просто при утолщении снежного покрова. Я подумал, не напали ли волки? Не очень давно было так, что волки выскочили из канавы и прямо с подводы взяли собаку. Я схватил ружьё и бросился вниз по горе. Когда глаз мой привык к темноте, я разобрал, что какой-то великан дрался с мужиками и очень успешно расшвыривал их в снег. Но к дерущимся мужикам подоспела подсвежка из другого обоза, и, казалось, великану капут. Однако он, исчезнув на мгновение, опять показался с лыжей в руке и так ловко действовал, что скоро расчистил вокруг себя непроходимый круг, и тут все увидели, что дрался с нашим начальником волчьей команды. Узнав, все успокоились, и всё пошло своим чередом. А вышло это потому, что первая лошадь, увидев страшную голову волка в санях, бросилась в сторону, хозяин, не разобрав, в чём дело, полез драться. Федя дал ему... На помощь потерпевшему бросились другие, и пошла кутерьма.

с. 247

Так вот и это пришлось записать, что в день Солнцеворота у многих повернулись носы на сторону.

## Волки-отцы

На краю поля стоит, уши развесил, неисходимый казённый лес. Поле глядит, лес слушает. А на другом конце поля слобода Пониковка, как старуха, сидит и всё, что покажется в поле, всё, что послышится в лесу и почудится, собирает в суму.

И много коробов всякой всячины, лесной и полевой, набрала старуха. Много раз от самой Спиридоновны с трепетом слушали мы её рассказ о её страшной волчиной ночи и дивились обычаю волчьих заметок. Но теперь, как вспомнишь, удивительней всех лесных и полевых чудес сама Спиридоновна.

В то время Спиридоновна жила у нас на Пониковке и была она *мирская няня*, это значит, что ходила она из дома в дом к больным детям и живёт на месте только на время болезни.

Когда у бедных людей заболел дитя, на пороге появляется высокая старуха и спрашивает:

— Не улетела ещё душка?

Тогда мать может смело идти на работу, дитя её в верных руках, и едва ли найдётся такая любящая и заботливая мать, как мирская няня Спиридоновна.

Так было раз у нас, заболел Петюшка, и трудно было нам с ним до последней крайности: жена сидела с ребёнком, я до службы старался управиться и с водой, и с дровами, и с базаром, но где тут было управиться! И вот уже на службе начали коситься. Что тут делать?

Однажды встаю с постели, открываю дверь, на стук входит Спиридоновна и спрашивает:

— Не улетела ещё душка?

Сразу она развязала нам руки, а когда через месяц Петюшка оправился и дошёл слух, что у кого-то на Пониковке тоже заболел ребёнок, Спиридоновна стала с ним прощаться.

с. 248 С Петюшкой она прощалась, как мать, когда провожает сына на войну: убивалась, так убивалась! А пройдёт время, с другим ребёнком будет так же прощаться, как с Петюшкой. Вот за то она и есть мирская няня, что материнская любовь у неё неиссякаемая, и как есть другая любовь, которой иная женщина тоже многих может любить, так и эта материнская любовь у Спиридоновны переходит на множество младенцев, и как раз, когда ребёночек оздоровеет и делается как бы своим собственным, приходится с ним расставаться и к другому идти. Удивительная была эта мирская няня, и много я за месяц узнал от неё всего: постоянно что-нибудь рассказывала.

Было это в сочельник Нового года, за лесом помирал старый дед. У того деда никого не было в избе, только сирота младенец. Без дедова ухода «закричалось», потом стихло и загорелось дитя. За поздней обедней сказали это Спиридоновне: дед и дитя помирают за лесом. После обедни по обычаю пошли поминать на кладбище покойников. Спиридоновка тоже понесла туда свои поминальнички. Кладбище тесное, покойник к покойнику, гроб на гроб, камень на камень. Родную могилку узнают только по зарубкам на соснах и даже у иных и зарубки-то сходятся — вот какая теснота. По-настоящему надо бы перенести кладбище на другое место, но уж очень привыкли тут хоронить: высокое кладбище, сухое, песочек, покойникам лежать хорошо, а живым помянуть — одно удовольствие. Разложили в это утро женщины свои пироги, пришёл батюшка, окадил: пономарь собрал в мешок поминальнички, пономарёв поросёнок пришёл добирать, а за поросёнком давно уже следил узкомордый волчонок.

Спиридоновка, мирская няня, не здешняя, у неё тут нет родных, но и она поплакала на тех могилках, где свежее и больше горя, а когда все разошлись, — она всегда поджидала, чтобы не попали её поминальнички в пономарёв мешок, — раскрошила свои пироги над всеми могилами, и сейчас же стали слетаться разные птицы на крошево. Залюбуешься, когда между засыпанными снегом соснами в солнечных лучах слетаются птицы. Светло и на душе стало у Спиридоновны: мирская няня только и жила светлым покоем души.

с. 249 А тот волчонок, стерегущий пономарёва поросёнка, всё полз и полз по канаве, почти что напоролся на старуху, увидев её, ужасно перепугался и пустился бежать полями прямо к казённому лесу. Свежий волчий след на поле перехватили охотники, побежали на лыжах окладывать, но вдруг помутилось небо, снег повалил, и ветер вовсе замёл волчьих следы. Только в самой глубине леса, куда и ветер не проходит, на пнях и волчьих кустарниках

остались какие-то не засыпанные снегом волчьи заметки. По этим заметкам волки понимали своё волчье; разобрав, оставляли новые заметки, и новые волки, читая старое, оставляли своё. Так, по-своему, они узнавали и свою волчью жизнь и разные человеческие новости, если они касались волков. Волчонок, стерегущий пономарёва поросёнка, конечно, всё на пнях разболтал.

Когда замутилось небо, замутилась и душа у Спиридоновны. Не попасть, думает, к младенцу, пропадёт без неё дитя. Дома сама не своя металась к окошку мирская няня, выглядывала, не стихнет ли метель. Под вечер понемногу начало было униматься, но тут другая беда: ехать надо казённым лесом, а ночью теперь там стаями ходят волки. Думала, думала Спиридоновна, как ей быть, и вот приходит к ней соседка с ребёнком на руках.

— Милая душка, — сказала Спиридоновна ребёнку, — посмотри в окошко, можно ли мне ехать?

Верила она, как в старину многие верили, что невинное дитя никогда не обманет.

— С дороги не собоюсь, не застыну, волки не обидят меня?

Ребёнок ответил:

— Волки, бабушка, тебя не обидят.

Так вышло Спиридоновне ехать. Соседка пошла запрягать буланку, а волчонок, стерегущий буланку, побежал в казённый лес, оставляя на кустиках заметки, что Спиридоновна собирается на ночь ехать на буланке через казённый лес.

Ослепила метель всё глазастое поле, залепила слух ушастому лесу, но волки по-своему знали, что эту ночь непременно стихнет и даже покажется месяц. Старая волчиха-хороводница опять захотела испытать силу и ловкость своего лобастого друга, ставила метки в лесу, готовила большую гульбу. Осторожно, вдумчиво обнюхивая эти заметки, неслышно ступали волки по рыхлому снегу и собирались на опушке возле старой волчицы.

Не ошиблись волки, загадывая гулевою ночь, месяц скоро взошёл, и показалась в поле чёрная мельница. Так чисто стало и заметно на белом: полынки стояли на меже, и на них-то волки посмотрели и подумали, не мужики ли это вышли на поле.

Лес прислушался. Далеко на Понииковке твякнула маленькая собачонка на луну. И огненным волчьим глазам было видно, как на белых серебряных волнах словно маленькая лодочка плыла: бежали деревенские розвальни; и то покажутся высоко, то опять надолго спрячутся, и опять выплывет это и всё подвигается и подвигается к большому чёрному острову — к этой мельнице. Вот и мельницу миновало, взбирается выше. Старый лобастый волк, замыкающий назади всю волчью цепочку, попросил себе у волчицы переднее место и приготовился выступить.

В это время Спиридоновна забылась, и ей представилось такое чудное, будто бы она уж и доехала и на печке сидит с младенцем на руках.

Да, Спиридоновна ехала не по волчьим заметкам. Много она себе в жизни заметила сама и держалась этого своего пути, а буланка бежала и бежала. Так, если сам не видишь дорогу, всегда лучше довериться лошади; та знает, где твёрдо, а дёрнешь, выступит с дороги, и потом уж из снега не выбьешься. Задремала старая, и представилось ей, будто она уж и доехала, сидит на печке, качает дитя, а внизу в избе волки. И вот сколько набралось волков, один на другого вздымаются, лезут всё выше и выше к полатам...

Дитя не видит волков и всё лучшеет и лучшеет, цветочки-яблочки на щеках, ручонками к бабушке тянется и зовёт её «мама».

А волки всё лезут и лезут.

Тогда великий гнев охватил Спиридоновну, и только хотела было она швырнуть в волков чем ни попадя, вдруг спохватилась, сама кинулась с младенцем в самую гущу зверей, стала на колени, земно поклонилась и говорит:

— Батюшки волки, не ради себя, а ради ангельской душики прошу, уйдите отсюда, не пугайте дитё, вы же сами отцы!

Что ответили волки, Спиридоновна не слыхала: пробудилась в сугробе, ничего не видно вокруг, только буланкины уши из снега, как рожки, торчат.

Старый волк на опушке леса смутился: вот сейчас только сани показались на высоте и отсюда уже без всяких задержек должны скатиться прямо на волков, а вышло совсем по-иному: вдруг сани куда-то сгнули. Лобан подождал немного и, сильный, уступил своё первое место умной волчице.

с. 250

с. 251

Волчица вспомнила одно место повыше этого, выступила из лесной тени и глубокими снегами повела всех. Там сверху волки сразу всё увидели и поняли, что на их счастье буланка оступился и с моста свалился в сугроб. Сверкая при луне шерстью, как серебром, незаметно подкрались волки к самому краю отвершка и вдруг все разом глянули туда своими огненными глазами.

Металась Спиридоновна возле саней, но чем больше нукала буланого, тем глубже он опускался в сугроб. Только-только придумала было вылезть сама на дорогу и тянуть буланку за вожжи, вдруг тут ей и сверкнули волки всеми своими глазами.

Спиридоновна, как была, так и осталась на месте неподвижная.

Старый волк опять переменялся местом с волчицей, утвердился задними ногами, хотел прыгнуть, но тоже вдруг замер, как и Спиридоновна.

У волков есть ужасный страх к неподвижному, в котором таится, может быть, и живое. Даже нового выворотня бояться волки, не сразу подойдут, и только уж как бы умолив неподвижное в чём-то, робко подходят оставить на нём знак своего почёта и трепета.

Оборвись и тресни под ногой у Спиридоновны какая-нибудь смёрзшаяся и хрупкая полынька, или сама она двинься назад — волки бы непременно кинулись и разорвали бы и её и буланку в клочки. Но она не назад в страхе бросилась, а вперёд шагнула, упала на колени, земно поклонилась волкам и молвила:

— Батюшки волки, не ради себя прошу, а ради ангельской души, пощадите, ведь вы тоже отцы.

Поклонилась Спиридоновна, да так и осталась лежать ещё более неподвижная и теперь ещё более волкам непонятная и страшная. И уже дрогнули волки — не бежать ли назад к месяцу от тёмного, неподвижного и явно живого. Но умная волчица осторожно обошла своего лобана, понюхала неподвижное живое, отдала свой знак почёта и трепета и удалилась краем отвершка. Потом по примеру старой волчицы, собирающей стаю, все волки почтили по-своему неподвижное, каждый, понюхав, оставил заметку. След в след за волчицей, исполнив всё, как она им указала, волки покинули страшный отвершек.

с. 252

Много раз от самой Спиридоновны мы слушали с трепетом рассказ о её страшной волчиной ночи и много дивились обычаю волчьих заметок.

Добродушно улыбаясь, мирская няня заканчивает свой рассказ:

— Встала я, деточки, вся-то мокрёхонька!

## Лиловое небо

В декабре, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно: небо наверху становится ровно лиловым, свисает, нижеет и торопит спастись, а то в лесу скоро начнётся свой, нечеловеческий порядок.

Мы поспешили домой обратно по своей утренней дорожке и увидели на ней свежий заячий след. Прошли ещё немного и ещё увидели новый след. Это значило, что зайцы, у которых день наш считается ночью и ночь — их трудовой день, встали с лёжки и начали ходить.

Страшное лиловое небо в сумерках им было, как нам радостная утренняя заря.

Всего было только четыре часа. Я сказал:

— Какая будет длинная ночь!

— Самая длинная, — ответил Егор, — ходить, ходить зайцу, спать, спать мужику.

## Аромат фиалок

Каждый раз, когда собираюсь на лисиц с гончей, я загадываю: если придётся убить, непременно проверить слова известного охотоведа Зворыкина, сказанные им в его замечательной книге «Охота на лисиц». Я думаю о той желёзке в основании хвоста лисиц, которая, по словам Зворыкина, имеет свойство на морозе испускать тончайший аромат фиалок. Сам Зворыкин говорит, что аромат фиалок ему всегда «венчает грациозную охоту на лисиц», но редко встречается охотник, способный воспринять этот запах; большинству основание хвоста лисицы пахнет просто псвиною; другие, понюхав, соглашаются только из

вежливости. Если бы я не знал Зворыкина как автора, у которого ни одно слово не говорит-ся на ветер, то, конечно бы, вспомнил сказку о голом короле, но Зворыкин сказал, — для меня всё равно, как бы я сам сказал. Я верю, что Зворыкин чувствует запах фиалок, что это действительно интереснейший биологический факт, притом неисследованный, и меня очень интригует, способен ли я понять этот запах.

с. 253

Вся беда, однако, в том, что охота с гончей на лисиц не всегда удаётся: то, бывает, лисица попортится, то, бывает, уведёт собак в такую даль, что не поспеешь до вечера. Мне лично с гончей удаётся убивать — хорошо если в третью охоту, а то в четвертую и даже в пятую. И постоянно так случалось со мной, что когда загадаешь понюхать фиалки, то и не убьёшь, а когда наконец удаётся убить, то обрадуешься так сильно, что про всё и забудешь. Наконец, мне удалось на морозе убить лисицу и вспомнить.

Было это в морозное утро. На небе светил ярко обрывок луны и звезды горели все до одной, когда мы трое, с юрисконсультом уисполкома Я. и музыкантом из местного кинотеатра Т., отличными охотниками, вышли с двумя собаками. У музыканта был его костромич Заливай, недавно получивший на испытаниях диплом первой степени, у меня мой неизменный и непревзойдённый старик Соловей. Лучше бы, конечно, идти с одной собакой, чем с двумя не спетыми, но никто из нас не хотел оставить свою собаку дома. Я упоминаю об этом только потому, чтобы неопытные охотники не брали с нас примера: на лисицу лучше всего выходить с одной собакой и одному, много — двум охотникам. Лисиц довольно и возле самого нашего городка, но мы всех их знаем, всех их напугал своими выходками Тартарен, и этих лисиц убить невозможно. Мы шли по шоссе за десять вёрст, где есть лисицы, ещё совсем негонянные. В этот день в городе была какая-то ярмарка, кажется конская, и по шоссе навстречу нам ехали люди почти непрерывно. И только потому, что ночная тьма скрывала нас, встречные не смеялись: такая уж повадка у наших мужиков — непременно при встрече с охотником сказать насмешливое слово. В темноте мы показывались едущим на ярмарку внезапно: блеск луны на стволах наших ружей издали настораживал лошадей, так что часто лошади при нашем появлении бросались в сторону, и вслед за этим слышалось неизменное родительское слово. Иногда, очень редко, смиренная лошадь шла, не обращая внимания; дремлющий мужичок открывал глаза, в первое мгновение, конечно, пугался, вероятно, принимая за разбойников, но, сообразив, необыкновенно ласково говорил:

с. 254

— О-хот-нич-ки!

Так было очень долго, а когда рассвело и мы обозначились, то все одинаково, встречая нас, говорили одну и ту же фразу:

— Берегись, зайцы!

И специально мне, пожилому:

— Ты-то, отец, напрасно идёшь.

Последнее меня раздражало, я сказал музыканту:

— Сколько у нас мужиков?

И музыкант мне правильно ответил:

— Миллион...

Пришли мы на место, когда только-только можно было различить лисьи следы на свежем снегу, и по первому следу пустили собак. Пока Соловей добирал по указанному следу, Заливай нашёл другой и, влаивая изредка, увёл от нас на весь день музыканта. Мы же с юрисконсультом, следуя за Соловьём, поднимались на высокий холм. Тут между пнями скоро мы наткнулись на закрытый снегом песок, выброшенный лисицами из недр земли, и открыли здесь лисьи норы. Тут было много наслежено и напутано. Пока Соловей разбирался в следах, мы с высоты разбирались в местности, угадывая возможные переходы зверя, где мы его будем подстаивать на гону. Под холмом с лисьими норами был довольно широкий ручей, огибающий холм почти кругом. Ручей ещё не замёрз, бежал совершенно чёрный в ослепительно белых берегах. За ручьём, теряясь в морозной дымке, был бесконечный уймистый лес. И только одно большое поваленное через ручей дерево было переходом от нас на ту сторону. Дерево было покрыто довольно плотной подушкой снега, и на подушке была и дальше уходила в лесную уйму одинокая цепочка лисьего следа. Это бревно-мост было обрушено в кусты на той стороне, и там, в кустах, два снегиря шелушили репейники. Как только семечек было намолочено довольно, красные птички спускались на свежий снег, и так они отличались от всего, что, куда бы ни смотрел, всё к ним глаз

с. 255

возвращался непременно и с большим удовольствием. Кроме этого перехода, вероятно, был где-то другой, не видимый нам, потому что Соловей вдруг оказался на той стороне и там, как только встретился с замеченной нами цепочкой следа, часто залаял и пошёл во все ноги, значит, след был свеженький: Соловей погнался. Тогда юрисконсульт спустился с холма и занял отличную позицию против бревна-мостика и снегирей. Я же пошёл быстро в другую сторону вниз искать другой переход. Скоро гон вышел из слуха, но, пока я искал себе лаз, вдруг гон оказался быстро растущим в прямом направлении к юрисконсульту. Я бросился к норам, чтобы сверху хотя бы полюбоваться картиной охоты, а также и сообразить ход зверя, если юрисконсульту не удастся убить. Лисица выскочила из уймы на большую поляну, на мгновение остановилась, осмотрелась и лёгким своим аллюрцем пошла прямо к мостику, возле которого снегири продолжали усердно молотить репейники. Юрисконсульт из-за кустов не мог видеть лисицу, но отлично стоял в засаде, настроженный нажимающим гоном собаки. Я ждал с волнением, загадывая, что раньше будет; слетят испуганные приближением лисицы снегири или выстрел охотника последует раньше. Но, конечно, когда наступил решительный миг, я забыл снегирей. Выстрел был, вероятно, в тот самый момент, когда лисица только-только показала из куста мордочку, и потому заряд пришёлся в голову. Смертельно раненный зверь прыгает вверх большими скачками, но падает на то же самое место...

Неизвестно, как перешли мы в момент на ту сторону по лисьему мостику: бог перенёс.

Прыгает зверь всё ниже, ниже, и, когда наступает конец, мы подходим смотреть, какой он *большой*...

Не горюйте о звере, милые жалостливые люди, всем это достанется, все мы растянемся, я почти готов к этому, и одно только беспокоит, что охотник разочарованно посмотрит на меня и скажет: какой он был *маленький*.

Правда, я таких лисиц никогда ещё не видал, — кобель-огнёвка, огромный и очень старый, зубы гнилые.

С зайцами у нас в этот день ничего не вышло, пороша прекратилась только под утро; жировки, наверное, были очень коротенькие, и мы ни одной не нашли. Короткий зимний день проскочил незаметно, и, когда стали близиться сумерки, мы услышали рог музыканта, подали сигнал и сошлись. Ему не удалось убить ни лисицу, ни зайца, но он и нашей лисице очень радовался: хороший, настоящий большой охотник.

с. 256

Мы весело пошли домой по шоссе. Как раз в это время на нашу беду начался разъезд с ярмарки, подвыпившие мужики, видя нас троих с одной лисицей, все встречали одной и той же фразой:

— Только одна?

Мы ничего не отвечали. Но их было много, и вода камень точила.

— Сколько их? — сказал я.

Музыкант опять сказал:

— Миллион.

Всем надоело, всех утомило, и мы свернули с шоссе в лес, поискали и открыли тропу вдоль шоссе. Обрадованные, сели мы отдохнуть на поваленное дерево. Юрисконсульт спустил с плеч тяжёлую лисицу, и тут вдруг, наконец-то, я вспомнил постоянный свой загад понюхать основание хвоста у лисицы и запахом фиалок на морозе увенчать грациозную охоту. Я сказал об этом товарищам, но они стали смеяться. Я тогда сослался на авторитетного для всех Зворыкина, рассказал об ароматной железе и по памяти точно передал текст книги. Музыкант вдруг поверил и заинтересовался так же, как я. Юрисконсульт вглядывался в меня, как человеческий следопыт по профессии, стараясь разгадать, серьёзно я говорю или хочу посмеяться над ними.

— Давайте я понюхаю, — вызвался музыкант.

Он быстро поднял хвост у лисицы и внюхался с отвращением.

— Пахнет, — сказал он, — тем именно, чем и должно в этом месте пахнуть у зверя.

По лицу юрисконсульта скользнула насмешка. Мне захотелось наказать недоверчивого юрисконсульта и вообще сделать так, чтобы уж всем от Зворыкина досталось одинаково. Я поднял хвост у лисицы, нарочно долго занимался нюханьем и совершенно серьёзно сказал музыканту:

— Вы, дорогой мой, ошибаетесь: верно, вы испортили себе обоняние махоркой, не могу сказать, что именно фиалками пахнет, но какой-то очень тонкий аромат я всё-таки чувствую.

Цель моя была достигнута, юристконсульт поверил и тоже понюхал.

— Нет, — сказал он смеясь, — вы меня не уверите, пахнет скверно, король гол.

Тоненькая завеса деревьев отделяла нашу тропу от шоссе, по которому непрерывно двигались сани. Смеясь над собой, мы представили, что все эти мужики видели, мы нюхали под хвостом убитой лисицы; как бы они, пьяненькие, нас тогда бы встретили! с. 257

Вечером, когда мы уже все трое у меня сели за чай, я с досадой вспомнил Зворыкина и достал из шкафа его книжку, чтобы окончательно уверить товарищей в этом факте научного значения, как написано в книге. И когда я в чтении своём дошёл до ароматной железы, вдруг оказывается: она не внизу, а сверху. Оказалось, эта подушечка, испускающая на морозе аромат фиалок, находится сверху основания хвоста, как раз в том месте, куда лисица, свернувшись калачиком, в густой шерсти прячет свой нос.

Пока мы всё это читали и разбирали, внесённая в тепло лисица так сильно запахла псовиной, что не только фиалки, а даже перебило табак из трёх папирос. Миллион мужиков, представлялось нам, едут навстречу нам по шоссе и кричат одно и то же:

— Эх, охотнички, не туда вы понюхали!

## Медведи

### I

Тигрик облаял берлогу в одном из самых медвежьих углов бывшей Олонецкой губернии, в Каргопольском уезде, в тринадцатом квартале Нименской дачи, недалеко от села Завондошье. Павел Васильевич Григорьев, крестьянин и полупромышленник, лёгким свистом отозвал Тигрика, продвинулся на лыжах очень осторожно, в чаще и на полянке с очень редкими тонкими ёлочками привычным глазом под выворотнем, защищающим лёжку медведя от северного ветра, заметил довольно большое, величиной в хороший блин, чело берлоги. Знакомый с повадкой медведей и, как северный житель, спокойный характером, Павел, чтобы совершенно увериться, прошёл возле самой берлоги: зверь не встанет, если проходить не задерживаясь. Глаз не обманул его. Продушина в снегу была от тёплого дыхания. Зверь был у себя. После того охотник обошёл берлогу, время от времени отмечая эту свою лыжницу чирканьем пальцем по снегу. По этому кругу он будет время от времени проверять, не подшумел ли кто-нибудь зверя, нет ли на нём выходных медвежьих следов. А чтобы сбить охотников за чужими берлогами и озорников, рядом с замеченным он сделал несколько ложных кругов.

Через несколько дней после этого события Тигрик облаял и второго медведя в семнадцатом квартале той же Нименской дачи. В этот раз полянка была сзади выворотня, защищающего лёжку от северного ветра, зверь лежал головой на восток, глядел на свою пята и частый ельник. Окладчик продвигался из этого крепкого места и чуть не наехал на открыто лежащего зверя. В самый последний миг он сделал отворот и прошёл, не разбудив, всего в трёх шагах. Случилось вскоре во время проверки круга, недалеко он нашёл вторую покинутую лёжку того же самого зверя и по размеру её догадался, что зверь был очень большой. Вот эта догадка и сделала, что обе берлоги достались не вологодским, не архангельским, а нашим московским охотникам. Вологодские давали по пятьдесят рублей за берлогу. Павел просил по девять рублей за пуд убитого медведя, рассчитывая на большого или по шестьдесят за берлогу. Во время этих переговоров Павел на счастье послал письмо в наш Московский союз. с. 258

Эта волна медвежьего запаха, попавшая сначала в нос Тигрика, потом в охотничье сознание Павла Григорьевича в Завондошье, охотникам в Вологду, в Москву, очень возможно, не дошла бы до меня в Загорск, если бы я не устал от беготни по своим делам в Москве, где бываю всегда обыденкой. Мне осталось заглянуть в «Огонёк», но редакция была на Страстном, а я был на Никольской вблизи «Московского охотника». Я решил завернуть в охотничью чайную и отдохнуть. Чудесный мир для отдыха в этой чайной комнате, где

собираются охотники и часами мирно беседуют: старые о былом, молодые о будущем. И нет такого места на земле, где бы так дорожили писателем, добросовестно изображающим охоту и природу. Но кто знает, не будь их охотничье сердце целиком занято сменой явлений в любимой природе, быть может, они бы стали самыми восторженными читателями общей литературы. Раз одному пожилому я рассказал о Гоголе и подарил книги, Гоголь открыл ему целый мир. Как счастлив был этот человек, до сих пор не слыхавший о Гоголе, как я завидовал ему. Но вот пришло время тому же старику мне завидовать: я, всю жизнь занимавшийся охотой, ни разу не был на медвежьей берлоге!

— Да как же это вы? — спросил меня старик, до крайности удивлённый.

И вот тут-то я познакомился с первым письмом окладчика Павла и обещал, если всё сладится, ехать. Так медвежья волна, причуянная Тигриком, дошла до меня.

Отдохнув в чайной, я отправился в «Огонёк» и между прочим проболтался в беседе с редактором о предстоящей медвежьей охоте. Известно, какое преувеличенное изобразительное значение придают фотографии в иллюстрированных журналах. Пыл редактора передался и мне, я обещал ему, если поеду, взять с собой и фотографа.

— Если убьёте медведя, — сказал редактор, — решусь на обложку и разворот.

Я не понимал, он пояснил: на обложке буду я с медведем и на обеих развёрнутых страницах журнала фотографии будут только медвежьи.

— Будьте уверены, — сказал он ещё раз, прощаясь со мной, — у вас будет обложка и разворот.

Невозможно автору божиться в правде написанного: все эти клятвы читателями принимаются как изобразительный приём. Но я клянусь не человеческими, а звериными клятвами, что не о себе я думал, когда в ответ на присланную мне через несколько дней телеграмму о благополучном продвижении переписки с окладчиком просил телефонировать в «Огонёк» о фотографе. Мне просто хотелось сделать удовольствие охотникам, зная, как они любят сниматься с ружьями и убитыми зверями. Кто не видал таких фотографий! Но оказалось, медвежьи охотники — люди совсем иного закала: им важно добыть медведя, а не своё изображение: лишний человек, особенно фотограф, для них только горе. Они были в отчаянии и лишь из уважения ко мне позволили. Только в самом конце охоты мы поняли требования фотографа и убедились, что он был вовсе не трус, но как было понять это вначале, если в первых словах фотограф спросил, можно ли ему на охоте пользоваться лестницей и где достать спецодежду, в которой легко бегать. В чайной до вечера был хохот, и медвежьи охотники успокоились: в решительный момент фотограф не будет мешать и убежит.

Вскоре после того окладчик в последнем письме неясно просил за одну берлогу шестьдесят рублей, а за другую по весу убитого зверя. На неясное письмо был дан неясный телеграфный ответ, но с точным обозначением дня приезда. Дело было покончено, медведи остались за московскими охотниками, а окладчик стал проверять круги, каждый раз прибавляя к этим окладам, отмеченным чирканьем пальцев по снегу, и лыжные.

## II

Одни говорят, будто первое впечатление всегда обманчиво, и проверяют его до тех пор, пока не сотрут все его краски. Другие, напротив, целиком отдаются первым впечатлениям, уверенные, что сохранённые краски его значат для познания мира во всяком случае не меньше, чем твёрдые, верные факты. Я лично верно могу говорить только о том, что впервые увидел сам и удивился. Почему никогда я от зверей в зоопарке не получал таких впечатлений, чтобы они заставляли сами своей внутренней силой делиться с другими? Как бы ни было в зверинце искусно построено, непременно я схвачу какую-нибудь мелочь, всё разгадаю, пойму: тут зверь *сам не свой*. И если бы в настоящем лесу на одно лишь мгновение мне удалось увидеть медведя, просто по своему делу переходящего поляну, мне кажется, в это мгновение знал бы я о нём больше, чем если бы целыми днями разглядывал его в зоопарке, снующего взад и вперёд, или на улице, заключённого в цепи. Думается даже, если бы пришлось убить медведя в условиях нашей Московской губернии, это бы мне ничего не дало: изредка к нам заходят и ложатся медведи, но это уже пережиток, — у нас медведь по ошибке, он уже тут не у себя. Но теперь я бросаю все свои дела, чтобы



поделиться восторгом от яркой весны света в таёжных северных лесах, где в это время рождают медведицы и в ожидании скорого тепла лежат в своём полусне старые и молодые медведи. Перед моими глазами теперь северные худые, но сильные стволами высокие ели на буреломных торчках подушечки, сложенные из бесчисленного множества слетавшихся за зиму снежинок, совершенно занесённые, обращённые в самые фантастические белые статуи кусты можжевельников. Сколько про себя срисовал я снежных фигур: тут был чудный старичок, вроде фавна с рогами, и очень грустное лицо милой женщины, изящной, но с тяжёлым мешком за спиной, Максим Горький и Аполлон, девушки Сильвия и Оливия, кого-кого не было в занесённом снегом диком лесу! Я всё узнавал, называл и, если бы сто вёрст ехать, не уставал бы читать фантастическую лесную зимнюю повесть. И особенно удивительно, что когда пришлось ехать обратно, то многих я опять узнавал и догадывался по ним, насколько мы приблизились к дому. Но самый как будто фантастический образ и в то же время самый реальный, по которому я чувствую себя самого, свою кровь, своё сердце и ум, это темно-бурая голова из-под выворотня, занесённого снегом. Она выростала, как на восходе луна или солнце, из-под земли так же медленно, и неуклонно, и неизбежно, а я стоял в нескольких шагах от неё и целился.

с. 261

Полная луна, Венера в кулак, Большая Медведица, всё небо со всеми своими звёздами так освещали снега, что мы различали следы не только лисиц, зайцев и белок, но даже цепочки белых куропаток и тетеревов. Так мы проехали от станции весело семь вёрст до села Завондошье. В двух комнатах Павла на полу спало всё бесчисленное семейство. Тигрик, не стесняясь, ходил по старым и малым. Топор висел в воздухе. Всё быстро пришло в движение, когда мы постучались, спящих ребят перекинули в другую комнату, мы расчистили стол, возник самовар, и фотограф очень осторожно, вполголоса, спросил бородатого хозяина Павла Васильевича Григорьева:

— Скажите, пожалуйста, Павел Васильевич, где у вас здесь уборная?

С этого разу начала обозначаться пропасть, разделяющая нас, безрассудно, бесцельно подступающих к опасным переживаниям, от человека, который хочет это снимать и показывать. Наши разговоры были ему скучными спецразговорами, а, как оказалось потом, от их направления при охоте на второго медведя зависела жизнь... У меня не было штуцера, я легкомысленно, по незнанию этой охоты, взял свою лёгонькую гладкоствольную двадцатку<sup>1</sup> с жаканами.<sup>2</sup> По книгам я, конечно, знал, что выходить на медведя с жаканами из двадцатки рискованно. Мне так представлялось дома, что главным действующим лицом я не буду и пушу свои пули только, если случится с другими несчастье. Всё оказалось по-иному. Я был хозяин одной берлоги, хозяином другой был стендовый стрелок, бухгалтер союза, чех родом. Мне случилось назвать его нечаянно греком, и да простит он меня — так и буду в шутку называть его *Грек*. Он был такой же новичок на берлоге, как и я, но вооружённый штуцером самого большого калибра. Третий охотник, старый медвежатник, ехал только распорядителем, защитником и учителем. Мы сразу стали называть его *Крёстным*.

— Я бы не вышел на берлогу с двадцаткой, — сказал он, — но мы будем вас защищать, выходите.

с. 262

Отказаться — значило прослыть трусом. Конечно, и с жаканом можно при счастье отлично убить, но... Всякое время имеет свою технику и своего артиста. Будь теперь господствующим орудием борьбы с медведями рогатина и я на высоте искусства с ней обращаться, то это было бы совершенно не странно: гибнут неискусные, артисты гибнут случайно. Теперь время штуцера с экспрессными, разрушительными пулями, а с жаканом идут кустари; я не в эпохе, я не первый — вот что обидно: ни первый со штуцером, ни последний с рогатиной — середка на половине.

— Нельзя ли, — сказал я, — посмотреть охоту на первого, а самому выходить на второго?

— Можно, — ответил Крёстный, — но, может быть, второго не будет, подшумим и уйдёт, кто же будет описывать нашу охоту? И потом — какой же это материал: если быть только свидетелем, вам самому будет обидно.

Я согласился. Крёстный предложил Греку отдать мне без жребия первый выстрел на первой берлоге. Превосходный товарищ без колебания ответил согласием.

<sup>1</sup>Двадцатка — облегчённое ружьё двадцатого калибра.

<sup>2</sup>Жакан — пуля для стрельбы из дробового ружья.

Мы спали всего два-три часа. Великий дипломат и политик в медвежьих делах, наш Крёстный только в самый последний момент, когда всё было собрано и уже лошади готовы, приступил к объяснению неясного договора с окладчиком: мы даём или по шестьдесят рублей за берлогу, или по девять рублей с пуда убитого; в случае же мы отпускаем медведя, платим шестьдесят. Но мы не согласны одну берлогу на вес, другую за штуку.

Павел крепко задумался о шкуре неубитого медведя. И когда, наконец, он сказал твёрдо «всё на вес», Крёстный обрадовался: это значило, что медведи были не шуточные.

Перед самым отъездом Павел потребовал от нас четвертую подводку.

— Для кого?

Павел внимательно посмотрел на Крёстного, и тот понял и велел поскорее подводку найти. Вслух сказать было нельзя: подводка была для будущего покойного медведя, в которого стрелять буду я.

Потом фотограф стал требовать лестницу и так настойчиво, что мы, наконец, поняли: она ему была нужна. Лестница скоро явилась вместе с четвертой подводкой. На долю фотографа выпало великое счастье.

с. 263

Редко я видел такое сияние дня весны света. Таёжный лес был пронизан золотыми лучами, везде следы рыси, лисиц, зайцев, белок, куропаток, тетеревов, глухарей. Глаза разбегались. И как особенно невыразимо прекрасно пахло снегом на солнце!

Не дорога, а след чьих-то саней в глубоком снегу. Сани наши и без разводов постоянно застревали между деревьями. Задетые дугой нависшие глыбы снега рушились на голову. Фотограф перед каждой аркой кричал нам сзади. Мы останавливались. Он снимал, а Крёстный потихоньку ворчал:

— Опять представление!

Лес был очень серьёзный. Ни одной дорожки, ни одной тропинки и, если лыжница — то было всем нашим извозчикам хорошо известно, кто, куда и зачем тут прошёл. Так мало-помалу явилась и наша лыжница, все перед ней остановились: это был след окладчика к первой берлоге. Мы встали, скинули тулупы в сани, наладили лыжи. Крёстный и Грек привели в готовность свои штуцера. Я вынул из футляра щегольское бекасиное ружьё, сердце моё тут ёкнуло: с таким ружьём на медведя, и выстрел мой непременно.

Маэстро распоряжается:

— Поверните голову к солнцу, лица не видно, сдвиньте шапку.

Крёстный шепнул мне:

— На него никакого внимания, идите за окладчиком. А я запрещаю всем говорить.

Исчезла вся красота сияющего лазурью и золотом северного леса. Не до того! Мысль только, чтобы не задеть лыжнёй сучка, отлетающего на морозе с треском. Верста показалась за десять. И вот, наконец, мы перешли магический круг оклада. Павел, не останавливаясь, рукой и бородой показывает на север в чашу. Там спит медведь. Может быть, от него теперь мы в нескольких десятках шагов, и цель наша — обойти чашу и на чистом месте оказать против чела. Вот когда, как самое желанное, стала мечта, что в последний момент всё сложится как-нибудь так, что сегодня я не буду стрелять и только посмотрю, а завтра, конечно, с радостью... Вернулись мучительные минуты далёких гимназических времён, когда вынимаешь билет на экзамене, а из головы всё вылетело, ничего не помнишь и совершенно серьёзно, по-настоящему молишься: да минует меня чаша сия... Ещё мне было теперь всё как ответ на свои бесчисленные охотничьи рассказы, что если вдруг окажется: я только бумажный охотник и держусь на обмане. Да ещё и так выходило, — если я обман как охотник, то непременно обман как писатель.

с. 264

Вот показалась поляна с редкими ёлками. Окладчик остановился и *показал*.

Дело его кончено. Теперь, если зверь выскочит и уйдёт, я плачу ему за берлогу. Он достиг своего. Я выступаю. Он отходит назад. Я продвигаюсь, куда мне показано. Крёстный слева меня обгоняет. Грек справа. Впереди группа ёлочек, между ними виднеется выворотень, под ним в сугробе темнеет дырка величиною в шапку, и это значит чело.

Вдруг забота: начинают зябнуть пальцы от нечаянного прикосновения к стали стволов, и погреть невозможно, каждое мгновение зверь может выскочить. В двадцати шагах короткое совещание шёпотом: Грек идёт вправо в обход берлоги, на случай, если у медведя есть выход назад; Крёстный становится влево, стреляет, если я промахнусь или задену и раненый бросится в атаку.

Вот я теперь один против чела. Требуется сойти с лыж и обмять себе место. Погружаюсь в снег выше пояса. Чело берлоги исчезло. Как же теперь быть? Об этом нигде не написано, и никто мне об этом не говорил. Я в плену. Медведь сейчас уйдёт, и я его не увижу. А Крёстный устроился высоко и шёпотом велит мне продвигаться до ёлочек. Как так, ёлочки же в семи-восьми шагах от чела! Но я слушаюсь и лезу туда. Вот миновал их. Гляжу на старшего. Он кивнул головой. Нога сама обминает снег, выходит ступенька, потом другая, третья, показывается близко чело, и то рыжеватое, что издали очень смущало, теперь уже не медведь, а внутренняя сторона выворотня. Я утвердился, свободен. Кто меня научил?

Что там делалось сзади, я не знал и вовсе даже забыл о фотографе и его лестнице. Все события впереди, и они совершаются и непрерывно нарастают. Грек растерялся и не понимает задачи — беречь зад берлоги. Крёстный выходит из себя, покрывается белыми и красными пятнами. Машет руками, громко шепчет. Грек понял, подался, и вот...

Как ясно теперь мне и понятно, что борьба в себе свободного гордого человека с трусом необходима, без труса нет испытания.

Уговаривать себя так же невозможно, как остановить сердце, а оно колотится всё сильней и сильней. Кажется, немного ещё, и оно разорвётся, но вдруг черта, за которой нет больше борьбы, и трус исчезает: всё кончено, я механизм, работающий с точностью стальной пружины в часах.

Такой чертой было ясное и довольно громкое слово Крёстного:

— Лезет!

Что-то зашевелилось на рыжем. Я ждал, и мушка стояла на этом неколебимо. Стали показываться и нарастать медлительно, верно и неизбежно уши, такие же, как в зоопарке, и линия шёрстки между ушами, а мне нужна линия между глазами, и до этого, если так будет расти, очень долго. Всё было, как если смотреть на восход луны и метиться мушкой.

Неужели всему этому огромному и спокойному времени мерой была одна наша секунда? Когда в промежуток этого необыкновенного времени сзади меня послышался голос, мне показалось, это было из какого-то давно забытого мира, где крошечные люди кишат, как в муравейнике. А это был голос фотографа с лестницы Крёстному:

— Станьте немного левее!

Необыкновенно было, что воспитанный и утонченно вежливый Крёстный чисто по-мужицки ответил:

— Поди к чёртовой матери!

Как раз в это время показалась нужная долгожданная линия между глазами, такая же, как в зоопарке. Сердце моё остановилось при задержанном дыхании, весь ум, воля, чувства, вся душа моя перешла в указательный палец на спуске, и он сам, как тигр, сделал своё роковое движение.

Вероятно, это было в момент, когда медведь, медленно развёртываясь от спячки, устанавливается для своего быстрого прыжка из берлоги. После выстрела он показался мне весь с лапами, брюхом, запрокинулся назад и уехал в берлогу.

Всё кончилось, и зима вдруг процвела. Как тепло и прекрасно! Бывает ли на свете такое чудесное лето?

Медведя выволокли. Он был не очень большой. Но не всё ли равно? Крёстный обнимает и поздравляет с первой берлогой. Грек подходит сияющий. Крёстный просит прощения у фотографа. Он оказался мужественным: совсем около, сзади меня, безоружный, стоял на лестнице. Мы все теперь хотим ему услужить. И он пользуется. Повёртывает нас направо, налево, то заставит согнуться, то прицелиться. Мнёт нас, как разогретый податливый воск, и мы всё ничего. Ему остаётся снять отдельно берлогу, а для этого ему надо срубить одну ёлочку. Как! Ту самую ёлочку, из-за которой медведь, может быть, и выбрал себе место под этим выворотнем! Ту самую ёлочку, что маячила мне, когда я к ней приближался в глубоком снегу и совершался суд надо мной — быть мне дальше охотником или не быть!

— Не надо! — сказали мы все.

И не дали рубить эту ёлочку.

с. 265

с. 266

## III

До самой ночи мы разбирали сражение с медведем, занявшее всего несколько секунд, и после целого дня, проведённого на морозе, не хотелось, как обыкновенно на зимних охотах, выпить. Так, во всей очевидности, открывалось происхождение потребности пить вино из необходимости иллюзии в жизни, не удовлетворяющей всего человека. Весело было мне встать на другой день спозаранку, будить товарищей и слушать за чаем рассказ окладчика об этом втором, по его убеждению, огромном медведе. Как ему не знать, если он прошёл от него всего только в трёх шагах и видел своими глазами: медведь открыто лежал между двумя ёлками, с севера защищённый выворотнем. Но не то, что медведь большой и открыто лежит, веселило меня, а что я отделался и сегодня могу быть спокойным свидетелем и наблюдателем. Я поддразнивал Грека:

— Посмотрим, как-то вы, молодой человек!

На эти слова Крёстный только улыбался. Он десятки раз бывал на берлогах, и ещё ни разу не было, чтобы два случая одинаково складывались: всегда выходило по-разному, и очень часто предназначенный для последней роли на охоте занимал первое место. Были такие слова, я хорошо их запомнил, но когда мы приехали на место и стали заряжать ружья, всё улетело. Чисто юношеские желания владели мной. Я представлял себе, что Грек такой же неопытный, как и я, не сумеет нанести медведю убойную, поражающую на месте рану. Огромный медведь сбрасывает охотника в снег и сидит на нём. А я подхожу и всаживаю зверю два жакана между глазами. Я заговариваю себя не стрелять и беречь свои заряды для страшного случая.

Мы теперь продвигаемся на лыжах в новом порядке: впереди, как и вчера, конечно, окладчик, за ним Грек, хозяин берлоги, потом Крёстный, а вслед за мной мальчишки Павла несут: один лестницу для фотографа, другой верёвку для будущего медведя. Сегодня, не стеснённый тяжкой обязанностью, я заметил: на одной мачтовой ели, на самой вершине, обыкновенные еловые шишки светились в лучах яркого солнца, как золотые шары, и над ними на последнем пальце ели во всей красе лазури весны света какая-то птичка сидела. А следы в этой глуши только рысь: медведь и рысь, это как-то вместе выходит, и, очень возможно, звери эти сознательно ищут друг друга...

Вдруг окладчик сделал знак всем остановиться. Лицо его очень встревожено.

Не ушёл ли медведь?

Скрывается в чаще и появляется. Продвигаемся дальше, но неуверенно. От одного к другому слух добежал до меня: окладчик круг потерял. Вероятно, позёмок замёл его чирканья пальцами по снегу, и теперь среди ложных кругов он не может найти свой настоящий оклад. Нам казалось, до медведя ещё далеко. Ружья были замкнуты предохранителями, но мы все ошиблись, окладчик потерял не круг, а берлогу, мы же были в кругу.

Из частого ельника мы продвинулись к поляне. Вышел Павел, за ним вышел Грек и потом Крёстный, все они трое в нескольких шагах друг от друга двигались уже на поляне. Мне оставалось пройти в трёх шагах от двух стоящих рядом значительных ёлок. Я даже заметил сзади них стену выворотня, мне бы только опустить глаза чуть-чуть пониже, и я увидал бы... Но все трое охотников прошли, никто почему-то не опустил глаза вниз. И мы все бы непременно прошли.

На поляне стояло сухое жёлтое дерево без вершины. Последняя моя мысль в обыкновенном моём состоянии была: «Как странно, что окладчик по этому сухому, такому заметному дереву не может узнать свой круг». И как раз в этот самый момент Павел узнал и сделал знак нам остановиться. Мы поняли, — это он свой круг узнал, а он искал берлогу; вероятно, думал, что все мы давно готовы, и, вдруг, узнав точно место берлоги, показал на меня. Настолько было неважно нам, что Павел узнал свой круг, что Крёстный даже и не обернулся и не посмотрел в мою сторону. Я же, увидав знаки Павла, остановился. Идущий вслед за мной мальчик с лестницей принуждён был тоже остановиться. И в тот момент, как мы остановились, я услышал сзади себя тревожный шёпот мальчика с лестницей:

— Дяденька, дяденька!..

Мы потом смерили: тот выворотень ровно в трёх шагах от меня. Я услышал рёв где-то под собой в снегу. Рёв этот был взрывами два раза и выражал собою то самое, что я видел вчера своими глазами, когда внутри тёмной дырки под выворотнем что-то зашевелилось

и медленно стало принимать форму лесной головы. Я бросился с лыж и утонул. Но ружьё мгновенно стало к плечу, и глаз мой увидел не открыто, а с планки ружья через мушку не совсем то, что видят открыто глазами. Было очень отчётливо в голове: «Совершается то же самое, что и вчера, всё очень знакомо, действуй так же, как и вчера». И началось то самое медленное время: нарастает, нарастает... Вот знакомая полоска между ушами с шерстью становится всё шире, шире, сейчас должны показаться маленькие глаза, и тогда, конечно, прекрасно выйдет, как и вчера: сегодня мушка моя ещё твёрже, нет на земле такой стали, чтобы держала её так же твёрдо, как моя рука. И вдруг полоска лба становится не шире, а уже, уходит назад, показывается нос и обнажается очень широкое горло. Как же быть? Я этого не знал, об этом никто не сказал, куда мне стрелять, горло такое огромное. Верней всего — нужно разделить пополам и целить в середину. Такой выстрел часто бывает, когда нет времени разобраться и охотник спускает курок с нелепою мыслью в последний момент: «Будь что будет». Мой указательный палец в этот раз не собрал всего меня и как-то не сам по себе, а по моему неясному велению «будь что будет» сделал движение...

## IV

Мне казалось, всё происходило на очень большом пространстве, что стрелки были далеко от меня, но потом с точностью, проверяя долго друг друга, установили: Крёстный стоял в четырёх шагах от меня, Грек от него был в шести или семи. Но если так близко было, то почему Крёстный не выстрелил в висок медведю, когда он поднимался почти возле меня? Он же лучше всех знал, что на широкой шее только случайно можно угадать место позвонка и что, если бы угадать, жакан из двадцатки, затронув отростки, может не разрушить основного хребта, что одного только конвульсивного движения лапы смертельно раненного зверя довольно, чтобы снести мне череп. Гибель моя была неизбежна, и Крёстный не выстрелил. Как это понять?

с. 269

Вот в этом-то и есть самое удивительное при охоте на опасного зверя. Оказалось из расспроса мальчика с лестницей для фотографа, он заметил медведя по движению лапы под выворотнем, одна из лап, прикрывавших глаза медведя в спячке, стала медленно отодвигаться, и тут он сказал своё: «Дяденька, дяденька!» И потом всё это: как зверь лез из берлоги, вырос больше меня, утонувшего в снегу, обнажил своё горло, вместе с тем последовательный ряд мыслей и действий вплоть до нажима указательного пальца на спуск, — всего этого времени было мало, чтобы Крёстному обернуться назад на рёв зверя и утвердить на лыжах позицию для выстрела. Грек всё видел, но от него прямо за медведем показались возчики, они издали по любопытству крались за нами и тут как раз подошли. Грек, увидев людей против мушки, на мгновение смутился.

И потом, какое же ничтожное время нужно, чтобы подвинуть предохранитель, но когда я нажал на спуск, и выстрела в ревущего зверя не последовало, и я сделал одно движение глазами на предохранитель, передвинул пуговку на огонь и опять хотел прицелиться, широкий зад зверя, удаляясь, мелькал в частом ельнике. Наудачу, не считаясь с деревьями, я послал туда, как в бекаса на вскидку, свои два жакана. В этом частом ельнике со стороны Грека, стоявшего лицом к левому боку уходящего зверя, наверное была какая-нибудь проредь, отличный стрелок воспользовался мгновением и выстрелил тоже два раза. Мне было видно — зверь круто повернулся в сторону выстрела и с огромной, в ладонь, красной раной в левом боку пошёл открыто через поляну в сторону Грека. Крёстному этого маневра зверя не было видно, я крикнул ему: «Завернул, стреляй!» Крёстный сделал шаг вперёд, всё увидал и выстрелил. И точно так же, как перед этим, зверь опять завернул в сторону выстрела. В это мгновение голова его обнажилась для Грека; тот выстрелил, и медведь ткнулся носом в снег и остался лежать в нём неподвижно темно-бурым пятном.

с. 270

И всё это от самого начала и до конца, — кто поверит? — было в какую-нибудь одну долю минуты! Крёстный, белый как снег, подходит ко мне и говорит: «Вы такой белый!» Грек о том же спрашивает Крёстного, а сам такой же, как мы. Между тем все мы внутри не испытывали ни малейшего признака страха, потому что наш трус где-то гулял и не успел прибежать и помешать, когда мы расправлялись с внезапно вставшим медведем. Отчего же лица-то побелели? А ещё в этом снежном спокойствии духа мне мелькнуло и связалось

с сегодняшним днём воспоминание смертельной опасности во время гражданской войны: тоже было после такое же раздумчивое спокойствие, очень похожее, как если при сильнейшей головной боли примешь двойную порцию пирамидона с кофеином и голова начнёт проходить.

Больше всего меня удивило, что и Павел тоже сделался белым. Не мог же он делать какой-нибудь разницы между жаканами и экспрессными штуцерными пулями, ему тоже не видно было, что сзади медведя шёл народ. В наш охотничий опыт он сразу поверил, не сомневался ни на одно мгновение, что мы трое, если он верно покажет, не выпустим медведя. Вот в этом-то, мне кажется, и было всё дело: он должен был показать берлогу, и тогда ему всё равно — убьём мы или зверь уйдёт, но вышло так, что берлогу он потерял, зверь для нас нечаянно встал и удалялся. Если бы он ушёл, то с ним ушло бы двенадцать с половиной пудов по девять рублей: сто двенадцать рублей пятьдесят копеечек! Надо переключить на свою жизнь каменнотвёрдые житные лепёшки, полную избу ребят от самых маленьких, хождение на лыжах за двадцать вёрст для проверки берлоги, постоянную радостную мысль, что зверь лежит большой, дорогой... И вот на глазах он уходит! Тут, мой друг московский, храбрый, доведись хоть до вас, и то побелеете.

## V

с. 271  
Наша прилипчивость к пережитой минуте, готовность разбирать её без конца объясняется, конечно, общими законами человеческой природы схватить мгновение и купаться в нём всю жизнь. Но, кроме всего этого, общего всем, у каждого из нас была и личная заинтересованность: правда, последняя пуля в голову несомненно была от Грека, но и без неё было ясно, что зверь бежал обалделый и всё равно бы очень скоро упал, — так вот кто же из нас остановил зверя смертельным выстрелом? В этом выстреле каждый из нас был заинтересован и невольно представлял себе картину согласно интимному своему желанию. Стараясь это скрыть, мы уступали друг другу и кое-что выяснили, но только вскрытие с точностью могло установить роль каждого в борьбе с этим медведем.

С огромным трудом выволокли медведя из леса на дорогу, и ночью он прибыл в село. Утром его втащили в избу, оттаяли и начали вскрывать. Мне теперь очень жаль, что не осталось на память фотографии. Медведь лежал задними ногами к святому углу на спине, а передние лапы его, у печки, были очень похожи на волосатые гигантские руки, закинутые через голову, чтобы схватить громадную русскую печь и со всей силой обрушить её на меня. Я униженно чувствовал слабость и ничтожество своего тела, и это перенесло моё воображение в такую даль времени, когда человек обладал такою же чудовищной силой и боролся с медведем на равных правах. В эпоху каменного века наши волосатые предки охотились на мамонта, а теперь на последнего лесного великана — медведя охотятся бухгалтер, судья легавых собак и литератор с фотографом.

Ножик уже начал своё дело, открывая на тёмной шубе медведя белую полоску подкожного жира.

— Вот бы снять, — сказал я фотографу.

— Неприятная картина, — ответил он и удалился.

с. 272  
При первом взгляде на рану в левом боку, от которой медведь из ельника круто повернул на поляну и предстал мне с огромным красным пятном в боку, стало понятно, что мои жаканы были тут ни при чём и, наверно, не долетев до медведя, застряли в частом ельнике. Эта рана была от разрывной пистонной экспрессной пули в ребро. Взрыв разбил три ребра, и обломок кости был найден в сердце. Оболочка пули со многими осколками была найдена тоже в сердце, лёгкое было иссечено, как дробинками. И с такою-то раной зверь мог бежать ещё сорок шагов! Что, если бы он завернул не на стрелков, а на возчиков? Рану эту нанёс медведю Грек одним из первых своих выстрелов. Пуля Крёстного вошла под лопаткой в левом боку, задела околосердечную сумку, разорвалась о ребра в правом боку и совершенно уничтожила правое лёгкое. И всё-таки после этой второй раны зверь несколько шагов пробежал. Только последняя пуля Грека, перезарядившего штуцер, попала в голову, и зверь ткнулся в снег. Физиологу трудно поверить моим словам, но так было. Эта живучесть медведя поразила меня. А между тем Павел уверял, что этот медведь с короткими и толстыми когтями не трогал скотины. Значения этой примете охотников, что будто бы

медведь-озорник непременно должен быть с длинными тонкими когтями, я не придавал, но понял из этого: не всякий медведь нападает на скотину, большинство их раскапывает муравейники, слизывает землянику, малину, терпеливо собирает разные корни, мёд. Какое же знание леса, сколько труда надо затратить медведю, чтобы из этого скудного материала создать себе тесные синие мускулы! А Грек, повседневно занятый в бухгалтерии, выпросил себе у приятеля десяток экспрессных пуль и пускал их, очень возможно, не имея понятия о том, как они изготавливаются. И создатель их, какой-нибудь лабораторный работник, едва ли тоже умел пустить их и мало интересовался даже их назначением: ему бы только выдумать, бухгалтеру только пустить. Вот почему, вероятно, у медведя, собравшего в себя нераздельно всю силу леса, оказалась такая живучесть...

Жалко немного медведя, но и слава хороша, вот уж слава, так слава!

Рост нашей славы начался уже там, где медведи живут и постоянно встречаются с людьми летом, в малинниках. Высыпали навстречу медведю стар и мал, и как они потом обходились с медведем, разглядывали, говорили, поднимали, качали его — трудно было отогнать мысль, что этот особенный, страстный интерес к владыке не является остатком древнего культа медведя. Давно ли я дома, начитавшись новейших статей учёных охотников о том, что будто бы медведя никогда не подымали на рогатину и что рогатиной убить его невозможно, что рассказы об охоте с рогатиной не больше как сказка, — я сам начинал уже склоняться к этому и увлекался происхождением легенды. Теперь к убитому медведю старики принесли ржавую рогатину, точно показывали, как в старину действовали ею: бросали будто бы на подъёме медведю в пасть шапку, он задерживался, и тут один всаживал в него рогатину, а другой бил топором по затылку. Лучше всех об охоте с рогатиной знал кум Ермоша, но, к сожалению, он был теперь на лесных заготовках: этот кум Ермоша не только

с. 273

понимал охоту с рогатиной, но даже одного порядочного уже медведя ремешком застегал. В селе гул стоял до тех пор, пока, наконец, мы не уехали на станцию. Начальник оказался новым лицом и почти что за голову схватился, когда я предложил ему отправить медведя в неупакованном виде. Потом он бросился к книгам за справками и, поравняв битого медведя с битой скотиной, потребовал представить это дело на рассмотрение ветеринарного надзора. Тогда выступил Крёстный и рассказал начальнику подробно, как в прежнее время обходились с убитым медведем. В то время охотник вёз медведя в Москву в неупакованном виде, и слава его росла от станции к станции. В Москве медведя везли открыто в санях прямо к известному тогда меховщику Лоренсу, где охотник заказывал или чучело, или ковёр. Лоренс принимал медведя и, когда приступал к вскрытию, приглашал охотника смотреть попадание...

— Больших денег стоила эта охота, — говорил Крёстный, — кроме славы, охотнику ничего не доставалось, и какой же смысл в таком случае отправлять медведя в упакованном виде!

После того молодой начальник стал сдаваться и продиктовал мне расписку:

— Отправляю медведя в неупакованном виде и принимаю на себя все последствия.

Медведь по пути не ожил, и последствий никаких не было, но у меня в Вологде украли кошелек с багажной квитанцией на медведя. Я был очень взволнован, опасаясь в своём городке встретить формальности и мучиться с получением медведя до тех пор, пока не съедят его крысы в пакгаузе. Списав номер квитанции от шкуры другого медведя, я пригласил свидетелями товарищей и постучался было в комнату нашего ОГПУ. Там никого не было. Не было на месте начальника, дежурного станции, весовщика. Всех их мы увидели возле медведя, и с ними была масса народу. Явился ломовик, медведя понесли на подводу. Десятки школьников бежали за санями, кто-то видел в окно, кто-то встретился. К трём часам дня весь город говорил о медведе, стали звонить знакомые и незнакомые, поздравлять, удивляться, расспрашивать.

Три года живу я на своей улице, все меня тут знают, но уже на другой я должен давать свой адрес: «рядом с Мелковым», а Мелков — лошадиный драч. В уезде, нанимая лошадь, постоянно говоришь: «рядом с Мелковым».

с. 274

Но вот я медведя убил. Мальчишки почтительно расступаются. Обыватели, сидя на лавочках около своих домов, слышу, между собой говорят:

— Курица в сердцах и то бросается, а поди-ка к медведю.

Вот слышу ещё разговор:

- Где тут драч живёт?
- Рядом с охотником.
- Это что медведя убил?
- Он самый, писатель известный по всей Московской губернии.

И они правы, я так понимаю теперь. Ничтожно время существования письменности в сравнении с тысячелетиями, прошедшими от начала борьбы человека с пещерным медведем.



## Предметный указатель

- Александрова гора ..... 12, 16, 35  
 Алексеева сечь ..... 90, 91
- Бармазово село ..... 43, 45
- Вёкса река ..... 40, 42  
 Вedomша село ..... 32  
 Веслево деревня ..... 18  
 Вознесенский овраг ..... 14
- Глумцы деревня ..... 32  
 Горицкий монастырь ..... 11  
 Гремяч гора ..... 14, 34  
 Григорово село ..... 54
- Домоседка село ..... 32  
 Дудень село ..... 32
- Жданая гора ..... 37  
 Желтухинское болото ..... 46
- Завондошье село ..... 111, 113  
 Заладьёво село ..... 32
- Идоловы Порты деревня ..... 32
- Князёк гора ..... 14  
 Копнино село ..... 50  
 Крамолиха деревня ..... 32  
 Кубря река ..... 37, 54
- Лада река ..... 32, 45  
 Леший Роскос деревня ..... 32  
 Лихорево деревня ..... 51  
 Ляхово болото ..... 66, 68
- Мемека гора ..... 14  
 милиция ..... 16  
 монастырь Горицкий ..... 11
- Нерль река ..... 50, 54
- Перегудка село ..... 32  
 Переславищи деревня ..... 75  
 Плещеево озеро ..... 11, 31, 35, 40  
 Половецкая волость ..... 31  
 Польцо урочище ..... 40, 42  
 Пониковка слобода ..... 106
- Раменьё село ..... 86
- Сёмино озеро ..... 40, 43, 46  
 собака  
 Анчар ..... 90–92  
 Верный ..... 63–65  
 Джек ..... 70, 71  
 Заливай ..... 109  
 Кента ..... 73  
 Кэт ..... 57, 58, 65–71  
 Нерль ..... 73, 74  
 Осман ..... 85  
 Рестон ..... 86, 87, 89  
 Ромка ..... 57–59  
 Соловей . 86, 88, 89, 97–99, 101, 109, 110  
 Ярик ..... 60–65, 69–71
- Советская улица ..... 16  
 Сокольническая биостанция ..... 13, 24  
 Соломидино село ..... 17  
 Стулова гора ..... 43, 45
- Татын куст урочище ..... 42  
 Торговище урочище ..... 43  
 Трубеж река ..... 11, 20, 31
- Усолёе село ..... 19, 33, 42, 43
- Хмельники деревня ..... 43, 46  
 Хороброво село ..... 32
- церковь Святого Духа ..... 16  
 Цыганово село ..... 92, 93
- Чертоклыгино деревня ..... 32  
 Черторой река ..... 45, 46
- Шутов овраг ..... 14  
 Шутова роща ..... 12
- Щеголеново село ..... 32
- Ярила ..... 51

## Именной указатель

Базунов Иван .....	18, 19	Минеев М. И. ....	17
Баранова Марфа .....	52, 53	Михаил Иванович .....	67
Борис Иванович (Покровский) 39, 67, 68, 70, 85		Михей .....	102
Власич .....	51, 53, 54	Павлов Дмитрий .....	35
Геммельман С. С. 12–14, 24, 39, 40, 43, 44, 50		Покровский Б. И. ....	39, 67, 68, 70, 85
Григорьев П. В. ....	111, 113	Пришвин Л. М. ....	8–11, 24, 41, 46, 48
Григорьев Яков .....	35	Пришвин П. М. ....	8–11, 24, 37, 38
Думнов И. А. ....	14, 15, 20, 21, 27	Смирнов М. И. ....	12, 24, 27, 37, 39, 45, 46
Дюбюк А. Ф. ....	14	Спиридоновна .....	106–108
Ёжка .....	15, 16, 18	Спицын А. А. ....	39, 46, 47
		Томилин .....	87–89
		Филимон поп .....	36–39, 42, 45, 50, 51, 54

# Оглавление

От редакции	3
Весна света и воды	7
Первая капель	7
Появление первых кучевых облаков	7
Земля показалась	8
Туман	9
Первая песня воды	9
Глухариный ток	9
Весна воды	10
Прилёт журавлей	11
Прилёт пустельги	12
Пролёт лебедей	14
Зацветание орешника	15
Скорая любовь	16
Начало движения сока у берёзы	17
Старая щука	18
Щучий бой	19
Лягушки ожили	20
Весна зелёной травы	22
Прилёт зябликов	22
Поток	22
Тема	24
Позеленение лужаек	25
Девушка в берёзах	26
Зацветание медуницы	26
Майский мороз	27
Дрозд-белобровик	27
Худой зять	28
Появление сморчков	29
Ёлки зелёные	29
Весна леса	31
Вскрытие озёр	31
Первое кукование	33
Первый зелёный шум	33
Первый соловей	33
Майские жуки	34
Иволги	34
Стрижи	34
Глаза земли	35
Тайны земли	35
Экспедиция на попе	36
Ход окуней	37

Робинзоны	38
Отъезд экспедиции	38
Канал краеведов	39
Стоянка первобытного человека	40
Первобытный человек	42
Происхождение человека	45
Весна человека	50
Появление ручейников	50
Крапивное заговенье	51
Бабы богомерзкие	53
Зацветание ржи	53
Лето	57
Первая стойка	57
Школа в кустах	58
Ярик	59
Верный	62
Кэт	65
Любовь Ярика	69
Болото	72
Тёплые места	73
Лесные загадки	73
Жалейка	75
Осень	79
Глаза земли	79
На воре шапка горит	79
Птичий сон	79
Умершее озеро	81
Первый зазимок	82
Гуси-лебеди	82
Тень человека	82
Белки	83
Барсук	84
Беляк	85
Власть красоты	85
Туман	85
Иван-да-марья	86
Гон	86
Анчар	89
Зима	97
Смертный пробег	97
Сердце зимы	99
Солнцеворот	103
Волки-отцы	106
Лиловое небо	108
Аромат фиалок	108
Медведи	111
Предметный указатель	121
Именной указатель	122